

Из истории отечественного краеведения

**М.И. Смирнов и М.М. Пришвин
в Переславле-Залесском
(1925–1926)**

Сергиев Посад

2013

63.3 (2Рос4)

С50

С50 М.И. Смирнов и М. М. Пришвин в Переславле-Залесском (1925–1926).

Сост. Т.В. Смирнова – Сергиев Посад: ООО «Все для Вас. Сергиев Посад»,

2013. – 104 с: фото

УДК

ББК

В книге впервые опубликованы воспоминания известного историка-краеведа *М.И. Смирнова* о писателе М.М. Пришвине, а также очерк о жизни и судьбе М.И. Смирнова со списком его опубликованных трудов. В книгу включена статья литературоведа и краеведа *Н.П. Анциферова* «Беллетристы-краеведы (Вопрос о связи краеведения с художественной литературой)», опубликованная в 1927 г., и приводятся замечания составителя по поводу книги И.Н. Ершова «Михаил Пришвин и российская археология (М., 2012).

ISBN 978-5-9976-0069-3

© Составитель *Т.В. Смирнова*. 2013

От составителя

В книгу включен очерк о судьбе М.И. Смирнова, известного краеведа, организатора и первого директора музея в Переславле-Залесском, с приложением списка его печатных трудов, составленного им самим. В очерке не дается ссылок, так как он написан на основе материалов, находящихся в архиве автора в виде машинописных копий с документов, которые хранятся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ) и ГАЯО.

М.И. Смирнов знал М.М. Пришвина около полутора лет (1925–1926 гг.), когда тот жил в усадьбе Ботик под Переславлем. Воспоминания М.И. Смирнова о М.М. Пришвине, публикуются впервые. Они написаны М.И. Смирновым в 1926 г. и дополнены записями 1938 и 1939 гг. Рукопись хранится в Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО. Ф. Р–913. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–33 об.). Значительная часть воспоминаний посвящена критике опубликованного М.М. Пришвиным в журнале «Красная Новь» (1925. № 8/9) произведения «Родники Берендея. Из записок фенолога с биостанции “Ботик”». «Родники Берендея» неоднократно переиздавались. В дальнейшем они были включены автором в цикл «Календарь природы» (М. Пришвин. Избранное. М., 1946. С. 220–262) и другие издания. Смирнов приводит ссылки, указывая страницы по изданию: М.–Л., 1926.

Вошла в книгу также трудно доступная в настоящее время статья известного литературоведа и краеведа Н.П. Анциферова «Беллетристы–краеведы (Вопрос о связи краеведения с художественной литературой)», опубликованная в журнале «Краеведение» (1927. № 1. С. 31–46). В ней автор исследовал проблему отношений между писателями и краеведами, рассмотрев и классическую русскую литературу, и иностранную, и современных ему писателей. На этом фоне им показано и вышеупомянутое художественное произведение Пришвина, претендовавшего на краеведческий и фенологический характер своих записок. При этом Н.П.

Анциферов использовал статью Смирнова «Краеведческая беллетристика» 1926 г., которую тот передал ему по совету друзей-краеведов. Подробные сведения о ее авторе см.: *Анциферов Н.П. Из дум о былом. Воспоминания.* (М., 1992).

Толчком к публикации воспоминаний М.И. Смирнова о М.М. Пришвине стал выход в свет книги Ершова И.Н. «Михаил Пришвин и российская археология» (М., 2012), автор которой находится полностью на стороне писателя и допускает массу домыслов, неточностей и ошибок. Полагаю, что публикация указанных материалов позволит читателям взглянуть на конфликт М.М. Пришвина с М.И. Смирновым не столь односторонне.

Приношу глубокую благодарность Андрею Юрьевичу Фоменко, предоставившего мне тексты воспоминаний М.И. Смирнова и статьи Н.П. Анциферова. Сердечно благодарю Игоря Валерьевича Жогина (Москва) и Юлию Яковлевну Никитину (Переславль-Залесский), оказавших мне большую помощь в работе над книгой.

Т.В. Смирнова

Т.В. Смирнова

Краевед М.И. Смирнов (1868–1949)

Михаил Иванович Смирнов был одним из самых известных провинциальных краеведов 1920-х годов. Он родился в семье священника села Большая Брембола Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии. «...в течение, по крайней мере, двухсот лет мои предки были грамотные книжные люди, что уже само по себе было благородной предпосылкой для моей судьбы. Несомненно, что и мне предстояло быть грамотным, в то время как большинство моих сверстников из крестьян с. Б. Бремболы должны были остаться неграмотными в силу противоположной семейной их традиции», – писал он в очерке «Как я стал краеведом».

Интерес к истории у него, как и у его братьев Сергея и Василия, по мнению М.И. Смирнова, зародился от отца. Тот очень любил книги, особенно религиозные и исторические, занимался историей села, и подолгу вел разговоры со «странниками», к которым прислушивались дети.

Подготовленный дома матерью, потом дядей, Смирнов поступил в Переславское духовное училище, а по окончании – в Вифанскую духовную семинарию. В семинарии, кроме занятий общеобразовательными и специальными предметами, он еще много читал классической и современной литературы, книг по истории, психологии и др. Заинтересовался славянофильской литературой: особенно трогала любовь К.С. Аксакова к Москве. «Это укрепило и усилило мою любовь к родному краю», – писал Смирнов.

Нелепое происшествие помешало ему продолжить обучение. На шестом курсе семинаристы возмутились тем, что в супе им несколько дней попадались черви, и не пошли на обед. В результате некоторых исключили, а другие, в том числе Смирнов, получили от ректора семинарии отрицательные характеристики. Из-за этого он не был принят в Московскую духовную

академию, хотя и выдержал экзамены успешно. Этот случай повлиял на всю его последующую жизнь. Пришлось начать служить: сначала учителем в церковно-приходской, потом в земской школе, затем в образцовой школе при Вифанской семинарии, где к тому времени переменялось начальство. Все это время Смирнов занимался самообразованием. Первой его печатной работой стала статья об уроженцах Владимирской губернии, обучавшихся в Вифанской семинарии, написанная по архивным материалам.

Желание повидать мир и необходимость увеличить помощь семье побудили Смирнова оставить педагогическую деятельность, длившуюся семь лет. Он переехал в Киев и поступил на службу в акцизное управление. Служба была чисто канцелярская, томительная и нудная. Но именно в Киеве Смирнов нашел свое счастье, женившись в 1902 году на княжне Наталье Викторовне Мещерской, которая служила счетоводом в том же акцизном управлении. Смирнов увлекся собиранием материалов по истории и родословию Мещерских. Но жизнь в Бердичеве, куда Смирнов был переведен по службе, становилась все неприятней. Не оставляла тоска по родному краю. Хотелось вернуться в Россию. Такая возможность представилась в 1905 году. И Смирнов перевелся в Нижний Новгород – хоть и не Владимирская земля, но все же ближе к родине.

В Нижнем Смирнов прожил десять лет. Хотя служба отнимала много времени и сил, но оставались вечерние часы. Он окончил исследование о роде Мещерских и опубликовал отрывок из него в Московском генеалогическом журнале. Эта работа имела для автора, прежде всего, то значение, что он, разыскивая материалы, получил навыки в чтении рукописей, познакомился с первоисточниками русской истории. И почувствовал, что может послужить своей родине, с которой связь у него не порывалась. Он написал статью о своем родном селе, используя материалы из архива Министерства юстиции. В результате в 1908 году Владимирская ученая комиссия избрала его своим действительным членом. Далее им был

напечатан еще ряд работ в Трудах комиссии. А монографию «Переславль-Залесский, его прошлое и настоящее» Смирнов издал отдельной книгой на свои деньги. В своих изысканиях он использовал архив и библиотеку Нижегородской ученой архивной комиссии.

Вскоре было открыто Нижегородское отделение Археологического института. Исполнилось давнее желание Смирнова систематизировать свои знания, полученные самообразованием. И на 44-м году жизни он стал слушателем института. Через три года окончил институт с золотой медалью, получив звание ученого археографа.

В связи с началом Первой мировой войны Смирнов перешел на службу в Удельное ведомство. Хорошее жалование на новом месте позволило нанять помощницу, которая снимала в Министерстве юстиции копии с нужных ему актов и грамот, касавшихся Переславского края. А сам он занимался обработкой этих материалов.

Февральскую революцию Смирнов радостно приветствовал. Но вскоре увидел, что имущество Удельного ведомства, объявленное государственным, расхищается крестьянами. Леса ими вырубаются. «Видя, что бороться бесполезно, а равнодушно переносить расхищение, хотя бы и революционное, преступно, я стал думать о перемене места и рода службы», – писал он. И решил всей семьей возвращаться на родину, в Переславль. Он оказался там через несколько дней после Октябрьского переворота. И первой его должностью стала должность начальника милиции – единственная, бывшая в то время свободной. Прослужил он всего пять месяцев и уволился. А вскоре нашлась и новая работа: создать в Переславле «на чистом поле», как он выразился, библиотеку и музей.

Воспоминания об этом периоде написаны им в 1924 году. Начал он с библиотеки. К весне 1918 года в городе находилось большое количество книг из двух разгромленных имений: Журавлевых и князей Гагариных. Занимался Смирнов этой работой бесплатно. Датой, с которой началась его

деятельность по организации музея, он считал 2 июня 1918 г. Надо заметить, что никто ему такой работы не поручал. Служил он в то время в лесном отделе местного исполкома. Будучи по службе во Владимире, узнал, что по вопросу создания музея следует обратиться в Москву, во Всероссийскую коллегию по делам музеев и охране памятников искусства и старины, что вскоре и сделал.

Смирнов, видимо, не представлял музея без картинной галереи. Потому и попросил, прежде всего, отдать в будущий музей собрание купца И.П. Свешникова, московского коллекционера, переславца по происхождению, которое тот ранее завещал государству. Однако не нашел понимания у члена Коллегии по делам музеев Н.Г. Машковцева. Но настойчивости Смирнову было не занимать. В октябре 1918 г. он снова отправился в Москву. Правда, денег и вещей не получил и в этот раз, но зато выдали мандат Коллегии, поручавшей ему устройство музея в Переславле. Это было уже неплохо: мандат дал возможность получить помещение для музея в одном из завещанных городу особняков (доктора Шилля). Туда и поместил Смирнов первые экспонаты, вывезенные им из села Семейдяйки – имения Журавлевых, самого богатого имения уезда. К этому времени оно было уже разгромлено, вещи в основном раскрадены. Однако Смирнову удалось найти кое-что в амбаре: гравюры, акварели, картины, саксонский фарфор, несколько предметов мебели красного дерева, книги и пр. На чердаке и на полу в комнатах валялось большое количество бумаг: письма, дела Народного ополчения 1854–1855 гг. и пр. академизма, Неожиданно он нашел понимание и в Коллегии. В город приехала по каким-то делам представитель Владимирского губисполкома художница Н.И. Островская. Она заинтересовалась музеем и посоветовала Смирнову обратиться непосредственно к Наталье Ивановне Троцкой, сославшись на нее. Он так и поступил. И о чудо! Получил три тысячи рублей и картины, которых добивался раньше. Несмотря на недовольство Машковцева, полотна из

кладовой Румянцевского музея были извлечены. Смирнов нанял подводы и привез их в Переславль. В основном это были картины передвижников, но был и «Опасный урок» Г.И. Семирадского – блестящего представителя салонного академизма – работа, достойно представившая Переславский музей на выставке произведений этого направления в Третьяковской галерее в 2005 г.

На этом история с приобретением картин из центра, казалось бы закончилась. В дальнейшем пополнение музейных коллекций шло путем вывоза вещей из закрываемых монастырей и из имений. Но перевод музея в новое помещение, где он находится и по сию пору, был непосредственно связан с коллекцией Свешникова. Когда попытались развесить картины (а их было 45), выяснилось, что разместить какие-то еще отделы просто нет места. И тогда Смирнов стал добиваться нового помещения. Его взор обратился на здания Горицкого монастыря, упраздненного еще в давние времена. Подходящим было здание духовного училища на территории монастыря. Однако его занимала советская школа, и учителя протестовали против выселения. Тем не менее, Смирнову удалось заручиться постановлением исполкома о передаче монастырских зданий музею. Получил музей и значительную территорию, на которой позже Смирнов развел сад. Желая закрепить решение вопроса о размещении музея, он поехал в Москву и привез бумагу, приветствовавшую постановление исполкома. Получил Смирнов и еще один мандат (от 6 февраля 1919 г.), в котором говорилось, что он является представителем Всероссийской коллегии в деле охраны памятников искусства и старины по Переславскому и Александровскому уездам Владимирской губернии. И что ему предоставляется право перевозки художественных и исторических предметов из имений, церквей и монастырей в Переславский музей «на предмет хранения». А все имения в уезде к началу 1919 г. находились в ведении волостных земельных отделов.

Охраны не было, так что повсеместно происходили кражи. Надо было спешно спасать и вывозить ценности.

Смирнов заранее подал во Всероссийскую коллегию смету расходов на следующий год и с января 1919 г. начал получать средства на создание музея и его надобности. Это позволило ему оставить службу в лесном отделе и полностью отдаться созданию музея. Вместе с ним перешел в музей и В.Е. Елховский, студент второго курса Московского университета, уроженец Переславля, также служивший в то время в лесном отделе.

Музей был открыт 28 мая 1919 г. В размещении экспонатов помогали известные художники Д.Н. и О.Л. Кардовские, жившие тогда в Переславле. Остается только удивляться скорости, с какой работали энтузиасты в те времена. В восьми залах были размещены картины из собрания Свешникова, художественно-бытовой отдел (быт помещиков) и отдел родинovedения (география, естественная история и пр.). Кроме того при музее начали функционировать библиотека и исторический архив, составленный из грамот и других документов как монастырей, так и переславских помещиков.

Далее стояла задача обследовать национализированные помещичьи усадьбы и изымать вещи музейного характера. Этим и занялся Смирнов. Ездил по имениям с В.Е. Елховским или с Г.П. Альбицким, возглавлявшим отдел внешкольного образования в Переславле. Одной из наиболее уцелевших и богатых ценными вещами оказалась усадьба Бектышево, принадлежавшая с XVII в. Самсоновым. Так как последний владелец сдавал ее в аренду Северной железной дороге, устроившей там молочное хозяйство, пришлось согласовывать вопрос и с Всероссийской коллегией, и с переславскими властями. Но железная дорога хотела устроить в Бектышеве школьную колонию. И, несмотря на поддержку Коллегии, переславский исполком встал на сторону железнодорожников. Смирнову не удалось своевременно вывезти тысячи вещей, представлявших интерес для музея. Только через несколько месяцев, когда школьная колония покинула усадьбу,

он смог осуществить изъятие. Но уже многие предметы оказались попорченными.

Смирнов вывез на санях «остатки сильно потрепанного революцией» архива из усадьбы Нарышкиных Загорье. Дом сгорел уже через месяц. Опоздай он, сгорел бы и архив вместе с домом. В Трехселище, бывшем имении Тихменевых, перешедшем незадолго перед революцией Р.Б. Ливенсону, принявшему во время Первой мировой войны фамилию Леонтьев, Смирнов хотел взять один из портретов – дамы в седом парике. Новый владелец не отдал, утверждая, что это портрет его сестры. Смирнов замечает, что тот не понимал, насколько опасно было в то время иметь таких родственников. Приехав в Трехселище еще несколько раз, он перевез в музей статую Николы Можайского в серебряном одеянии и часть шитых картин. Остальное он надеялся сохранить как «показательный культурный уголок». «Так оно и было некоторое время», – замечает Смирнов в своих воспоминаниях. Хочется добавить: именно некоторое время. Впрочем, по-видимому, далеко не все сохранилось в дальнейшем и в самом музее.

В усадьбу князей Гагаринские Новоселки, где еще ютилась в уголке флигеля старуха-княгиня с двумя дочерьми, уже въезжали члены трудовой коммуны «Молот». Смирнов с Елховским успели спешно вывезти оттуда мебель карельской березы, библиотеку и пр. Летом 1920 г. были обследованы усадьба в Дубровицах, деревня Охотино с усадьбой Ф.И. Шаляпина и художника К.А. Коровина и другие, а также несколько церквей.

Занимался музей и имуществом монастырей. Первые вещи поступили еще в 1918 г., когда ЧК нашла спрятанные игуменьей Сольбинского монастыря серебряные сосуды и пр. Тогда Смирнов с помощью одного из сотрудников Всероссийской коллегии, приехавшего в Переславль, получил эти вещи из ЧК. В 1920 г. он обследовал переславские монастыри, обращая главное внимание на «небогоугодные», по его выражению вещи, на

библиотеки и архивы. Тогда в музей поступили иконы XV–XVII вв., старинное шитье, ткани, книги, архивные материалы.

Зимой 1920 г. земельный отдел передал в Переславский музей усадьбу «Ботик» вместе с Петровским музеем, основанным в 1803 г., и прилегающим участком. Так как «революционный угар», как писал Смирнов, угрожал сохранности вещей в усадьбе, то часть наиболее ценных и мелких пришлось вывезти в музей. А еще ему приходилось постоянно бороться с властями: то хотели сбить двуглавого орла с памятника Петру на «Ботике», то занять под казармы постройки XVI и XVII вв.

В 1919 г. он потратил часть средств на покупку фотографических принадлежностей, а летом пригласил двух фотографов-любителей для съемки памятников архитектуры. И в 1920-м в музее была устроена фотовыставка старой переславской архитектуры. Тогда же были открыты отделы оружия, икон, и выставка репродукций картин Третьяковской галереи.

Смирнов не подозревал, что его деятельностью крайне недоволен Владимирский отдел по охране памятников искусства и старины. Даже не знал о существовании такого отдела. А заведующему этим отделом А.И. Иванову не нравилось, что Переславский музей действует самостоятельно, и что Смирнов выпустил воззвание с призывом беречь памятники искусства и старины, а также провел через местный исполком об этом постановление. Выяснились эти претензии летом 1920 г., когда во Владимире состоялся музейный съезд.

Выступление Смирнова на съезде о том, что уездные музеи должны быть краеведческими, и памятники старины следует представлять вместе с экономическими и природными особенностями края, руководство отдела сочло ересью. Видимо, это не соответствовало установкам Всероссийской коллегии. Но большинство участников съезда его поддержало.

1920 год был богат посетителями из Москвы. Комиссия Главмузея занималась описанием древностей Переславля. На «Ботике» Смирнов устроил экспедицию профессора Д.А. Ласточкина, занимавшуюся планктоном Плещеева озера. Поселилась там и экспедиция физиков по изучению звука. Бывали и другие ученые разных ведомств.

Когда в 1922 году началась кампания изъятия церковных ценностей для помощи голодающим, Главмузей назначил Смирнова экспертом и членом Комиссии по отбору церковных ценностей в Переславском уезде. (По инструкции Главмузея не подлежали изъятию ценности, созданные до 1725 года). А в 1923 году в Переславле прошла кампания по закрытию монастырей. Смирнову вместе с Елховским пришлось перевозить в музей оставшиеся в них ценности. После долгих переговоров музею были переданы с землей и строениями переславские монастыри: Горицкий, Троице-Данилов и Федоровский. На это имущество претендовали и некоторые другие организации, в связи с чем Смирнову, по его признанию, пришлось пережить немало тяжелых минут.

Но эта кампания позволила устроить в музее новый отдел: отдел церковных древностей. А так как в это время музей получил из Данилова монастыря лошадь, то удалось привезти из закрытых монастырей шкафы и т.п., которые были превращены в витрины. (Лошадь власти скоро отобрали, и даже Главмузей не смог добиться ее возвращения). Три месяца Смирнов работал, не покладая рук. И расположил в «серебряном» зале предметы из серебра, начиная с XII века; в другом помещении развесил иконы, выставил шитье XVII века, резьбу по дереву и камню, а три витрины занял историей письменности с XVI по XIX век. Таким образом, в музее стало 15 открытых для посетителей залов.

Надо заметить, что вся работа Смирнова протекала в постоянной борьбе с властями разного уровня. В 1924 году коллектив музея пополнился сотрудником, сыгравшим немалую роль в дальнейшей судьбе Смирнова.

Речь идет о Сергее Сергеевиче Геммельмане, энтомологе и коллекционере. Когда в начале 1925 года Смирнов принял его на работу, то тут же получил из уездного отдела народного образования бумагу с протестом по поводу принятия на работу бывшего торговца и угрозой в связи с этим увольнения самого Смирнова как заведующего музеем. Объяснения Смирнова не были приняты, и ему пришлось ехать в Москву, в Главмузей, чтобы добиться согласия на прием Геммельмана в музей. Но и после того, как в Переславль приехал сотрудник Главмузея, и решил этот вопрос положительно, борьба не была окончена. Геммельмана не приняли в профсоюз, как человека, лишенного избирательных прав, а Смирнову снова грозили увольнением. Когда он находился на 2-й Всесоюзной конференции краеведов, у него дома даже был произведен обыск. В дальнейшем именно доносы Геммельмана, как считал Смирнов, сыграли немалую роль в его аресте.

Немало занимался он в эти годы и археологическими разведками. Так, в августе 1924-го проехал на лодке по реке Вексе и открыл на первой же остановке неолитическую стоянку в урочище «Польцо». Это была песчаная возвышенность, незаливаемая внешними водами, где оказался богатый подъемный материал. Потом проехал на лодке до села Святово и нашел две стоянки на берегу Сомина озера: одну на «Торговище», другую на островке при речке Бароновской. Кроме того, обследовал два городища: в деревне Григорово при впадении Шусты в реку Кубрю и в деревне Туколенки на реке Мечке.

Наряду с археологическими задачами Смирнов в этих поездках изучал древние обряды: коляду, овсей, масленицу, а также обследовал церкви, регистрируя наполнявшие их предметы, имеющие историко-художественное значение.

В конце лета 1924 года он совершил пешую экскурсию на Ватутинское озеро. Вместе со спутником обошел его кругом. В разных местах в воде были найдены керамика и кремневые орудия неолитического времени, сама

стоянка обнаружена на северном берегу близ села Романово, на песчаном бугорке, на берегу. А в воде был найден большой кремневый топор. Из этих находок Смирнов скомпоновал особую витрину в археологическом отделе музея. Тогда же он составил и археологическую карту уезда. В результате, как он писал, стало видно, что курганы кривичей находятся исключительно в хлебородной опольской стороне уезда.

На следующий год Смирнов организовал большую экспедицию на лодках. В ней участвовал научный сотрудник музея С.С. Геммельман, писатель М.М. Пришвин, приехавший в том году в Переславль, трое юных краеведов и хозяин лодки Константин Павлович Никольский, женатый на сестре М.И. Смирнова. Последний был выведен Пришвиным в карикатурном виде под именем попа Филимона в очерке «Родники Берендея». Эту поездку Смирнов описал в очерке «По забытым путям Залесья». В июле того же года в Переславль проездом из Костромы на три дня приехал знаменитый археолог, член Академии истории материальной культуры Александр Андреевич Спицын. С ним Смирнов съездил на лодке на неолитические стоянки Вексы и Сомина озера, обнаруженные в прошлом году. Пригласил и Пришвина с сыновьями. Спицын подтвердил датировку стоянок, данную Смирновым, и дал ценные указания по их раскопкам. Во время этой экскурсии были обследованы близ деревни Хмельники курган и груды камней. Несмотря на то, что находок практически не было, Смирнов был доволен: он увидел приемы работы одного из лучших археологов страны. А в августе 1925 года Смирнов уже сам вскрыл три кургана у деревни Киучер в урочище «Грачки».

1925 год был годом нескольких важных событий в жизни Смирнова и его семьи. Его жена получила известие о большом американском наследстве. В 1850-х годах скончался ее дальний родственник и оставил после себя 16 миллионов долларов. Сумма возросла за это время примерно до 100 миллионов. Нашелся в Вашингтоне какой-то человек, разыскавший

наследников. Наталья Викторовна написала доверенность. «Вот если хоть что-нибудь получить, – писал Смирнов, – как бы я раздвинул рамки краеведной и музейной работы». Скажем сразу, что всю полученную сумму пришлось отдать государству.

Вторым событием стало поступление дочери Смирнова Сони во ВХУТЕМАС. Как одна из лучших учениц она должна была получить командировку от школы. Но отношения М.И. Смирнова с местными властями были совершенно испорчены в борьбе за музейное имущество. Так что заведующий уездным отделом образования, явившись на педсовет, забраковал Соню как дочь Смирнова. Отцу пришлось выхлопотать ей командировку от секции московских научных работников. При приеме был страшный отсев. Но Соня прошла второй по списку. И писала домой: «Нет лучше ВУЗа в мире, как наш ВХУТЕМАС...».

А третьим событием был юбилей Смирнова – 25 лет его краеведческой деятельности. Уездный исполком вынес постановление о том, что не может взять на себя инициативу по организации юбилея, так как Смирнов «в общественной работе никакого участия не принимает». Уездное профсоюзное бюро постановило: «От посылки представителей воздержаться в виду того, что научная деятельность Т. Смирнова не известна». И был даже издан приказ, чтобы никто не смел являться на юбилей под страхом увольнения. Но приехали гости из Ленинграда от Центрального бюро краеведения, несколько человек из Москвы от Главнауки и других учреждений и организаций, краеведы из разных городов.

Приведем тексты некоторых выступлений на юбилее. Д.О. Святский от Центрального бюро краеведения (далее – ЦБК) прочитал послание, подписанное академиком С.Ф. Ольденбургом: «ЦБК с глубоким интересом и вниманием следило и следит за Вашей краеведческой деятельностью в Переславщине. Исходя из талантливой семьи, давшей русской науке несколько полезных деятелей, имея солидную научную подготовку,

принялись Вы за дело краеведения с большой любовью к своему родному краю, болея его нуждами, но в то же время, открывая неистощимые источники его богатства; сознавая, что в краеведении верный путь к поднятию производительных сил страны, по которому она должна выйти из тяжелого положения к лучшей жизни, из темноты, к свету. Ваши многочисленные ученые работы о Переславщине, по справедливому отзыву специалистов, представляют собой “выдающееся явление в области краеведения”. Вами в 1918 году был собран и организован местный музей. При Вашем энергичном участии открыто местное научно-просветительное общество, издавался целый ряд сочинений по изучению Переславщины, природы и производительных сил.

Знаменитый когда-то как столица удельного княжества Переславль-Залесский, пришедший потом в упадок, безвестный уездный город, теперь снова становится широко известным в своем прошлом и настоящем, благодаря своему богатому и благоустроенному Музею и Научно-просветительному обществу, работающему с примерной энергией и добросовестностью с большим успехом».

От московского отделения ЦБК и Центрального музея народоведения выступал Б.М. Соколов, сказавший в частности: «Анализ наших краеведных учреждений показывает, что они создавались при наличии живого, энергичного и преданного делу инициатора и вдохновителя, горячо преданного делу изучения местного края». Было немало еще выступлений, в которых отмечались заслуги Смирнова в области собирания переславского фольклора, в деле охраны памятников. Было прочитано и письмо А.А. Спицына, в котором были такие слова: «Высоко ценю дарования М.И. Смирнова, много более значительные, чем он сам о них думает. Высоко ценю его практическую дальнорочность, которая могла бы иметь более широкий размах. Считаю единственными, образцовыми и лучшими краеведческими работами его труды: “Переславщину” и “Переславский уезд». Очень ценю

его историческую монографию о литейном деле в старой Руси. Как археолог обрадован и удивлен его счастливой находке двух богатейших стоянок Каменного века в окрестностях Переславля, обнаруженных не случайно, а путем применения определенного краеведческого приема».

Было много приветствий со стороны научных учреждений, краеведческих обществ, музеев, отдельных лиц. Но юбиляра и всех присутствовавших удивило, что на празднование не явился Пришвин. Но вскоре Смирнов и Пришвин встретились. Это произошло в музее на праздновании Нового года. Смирнов разнес пришвинские «Родники Берендея», сказав, что выведенные им лица представлены карикатурно. Указал, что, с точки зрения этической, это некрасиво, а с точки зрения краеведческой, – неправильно. Пришвин этого не простил и перестал при встречах кланяться.

А Смирнов продолжал свою работу, побывал на сессии ЦБК в Москве, зимой ездил по селам, объехав добрую половину уезда, для осмотра памятников старины в церквях и часовнях. Находил древние иконы, деревянную скульптуру, ткани и т.п. А как начал таять снег, взялся за сад. Заложил он большой сад на территории музея еще с осени. Благо попался ему бывший сапер, у которого оказалась мотыга, употребляемая в каменноугольных копях. Он и надолбил две сотни ям под будущие посадки. В Никольском монастыре Переславля яблони были посажены так густо, что необходимо было их проредить. Оттуда и привезли 25 больших яблонь. А из Козлова, от И.Я. Мичурина, было выписано около сотни молодых яблонь и груш, из Владимира – вишен. Посадка началась 30 апреля 1926 года. Эту дату Смирнов отметил как начало большого дела в переславском крае, весьма бедном садами. Осенью того же года он еще съездил в Суздаль за грушами, сливами, вишнями и пр. Привез их перед самыми заморозками и прикопал на зиму.

Летом 1926 года, как обычно, Смирнов занимался археологическими разведками и раскопками: совершил пешую экскурсию на Берендеево болото попутно смотрел торфоразработки и послал потом туда Геммельмана с ботаниками, чтобы собрать для музея экспонаты. Тем же летом, получив, как и в прошлом году, открытый лист от Российской академии материальной культуры, он копал в окрестностях Переславля и нашел в Грочковских курганах железные топоры, горшки, браслет и два наплечных знака вместе с частью одежды: у одного меховой, у другого лыковой. Посетил Смирнов также неолитические стоянки на реке Вексе и на озере Сомине. Во времена неолита местность была настолько обжита, что ребята приносили в музей черепки с ямочным орнаментом и кости, найденные ими в самом Переславле, на Трубеже.

Между тем нападки на Смирнова, жалобы на него, разбирательства по жалобам, угрозы увольнения продолжались. И тут, чтобы укрепить свою положение, он предпринял такой шаг: решил заказать большую картину «Ленин в Горках у А. Ганшина» и поместить ее в музей. Дело в том, что ходили слухи, будто бы вождь жил некоторое время в этой усадьбе Переславского уезда. Смирнов предложил написать картину Д.А. Кардовскому, который как раз приехал тогда из Питера на родину, в Переславль. И отправился с ним и с фотографом в Горки. Из воспоминаний Смирнова: «Там, нужно сказать, я был осенью предшествовавшего года. В доме проживал сын владельца Ганшин, парк был в полной сохранности. Приехав туда, мы нашли другую картину. Дом как-то осунулся. В нем жил крестьянин. От парка – жалкие остатки: оказывается Берендеевский ВИК разрешил вырубать его. Любопытно, что зимой в нем жил другой крестьянин. Он два раза попадался на изготовлении самогона, который варил в этом историческом доме. На закопченной исторической печке в комнате, соседней с той, где тайно печаталась книга Ленина «Что такое друзья народа, и как они воюют против социал-демократов», пальцем было

начертано слово из трех букв. Художник сделал несколько нужных ему зарисовок, а я с фотографом ходил по различным углам и сделал несколько снимков. Кроме того, расспрашивал бывшего учителя села Петрищево о А.А. Ганшине и Ленине. Из его слов и сына первого выходило, что В.И. бывал здесь в революцию». В дальнейшем, из разговора с бывшим владельцем усадьбы, который к тому времени служил техническим директором на одной из фабрик, выяснилось, что Ленин был два–три раза в Горках в 1894 году.

Недели за три Кардовский написал картину на фанере в два тона. Картину поместили в музей вместе с фотографиями деревни и усадьбы и торжественно открыли Ленинский уголок. На открытии присутствовали местные власти. Смирнов даже организовал музыку и чай с яблоками из сада Никитского монастыря и печеньем «для “смычки” с товарищами. Какой-то остряк сказал ему потом наедине, указывая на картину: «С этим чудотворным образом теперь Вам нечего бояться...».

Поздней осенью Смирнов был вызван в Ленинград для дежурства в ЦБК. Воспользовавшись этим, он выбрал в государственном художественном фонде материалы для Петровской комнаты музея: гравюры петровских судов, портрет Петра I и пр., а в Русском музее картины для пополнения музейного собрания. П.И. Нерадовский, заведующий художественным отделом, отобрал для Переславля ряд картин, в том числе А. Бенуа, К. Юона, К. Коровина, П. Петровичева. В этот приезд Смирнов в поисках материалов по родному краю успел поработать и в Археографической Комиссии при Академии наук, и в Публичной библиотеке, радуясь тому, что там можно было сидеть до 10 вечера. И, конечно, посетил множество музеев. «Откровенно говоря, переутомился и был подавлен колоссальными размерами и материалом. Мы со своими захолустными музеями как мухи перед слонами. Там есть чему поучиться, там есть высшее знание и средства, а мы не имеем ни того, ни другого, но зато любим свой край <...>. И ведь у нас все-таки что-то выходит», – писал он.

В Ленинград Смирнов привез текст статьи «Краеведная беллетристика», в которой подверг критике книгу Пришвина «Родники Берендея». Но друзья Смирнова Д.О. Святский и А.А. Спицын отсоветовали печатать статью. А.А. Спицын поразил своим взглядом на Пришвина. Археолог «сразу понял его как хищника и холодно ответил на заискивания», – вспоминал Смирнов. Статью Смирнов передал Н.П. Анциферову, и тот использовал ее в своей статье «Беллетристы и краеведы».

В 1928 году состоялась первая Переславская конференция по изучению производительных сил. Тут, кажется, впервые наметились нелады среди сотрудников музея. Двое из них, по словам Смирнова, постарались оттеснить его от организации конференции. Далее возникли споры о расходовании денег, выданных Владимирским губкомом на печатание трудов Переславль-Залесского научно-просветительского общества (далее – Пезанпроб).

Об издательской деятельности Смирнова необходимо сказать особо. Пезанпроб был создан еще 30 марта 1919 года. Смирнов писал: «Мне думалось, что эта сторона дела прочнее и долговечнее музейной работы. Любой отдел музея, любую экспозицию можно уничтожить. Но напечатанное, хотя бы в ограниченном количестве, все же останется где-то по научным библиотекам и будет существовать, пока не обратится в труху бумага. Ему будет дана надлежащая оценка истории».

Он считал своей основной общественной работой именно эту деятельность. Ни одной копейки за свои изданные труды он не брал и брать считал грехом. «То был подарок моей родине, оплата за радость и счастье бытия». И свои работы он печатал только тогда, когда не было других. Всегда отдавал предпочтение другим авторам.

Жить среди всех этих неприятностей, Смирнову придавал силы сам Переславль. Он писал, что вид города в любое время года, в любые часы дня неизменно возбуждал в нем сильное ощущение прожитых веков. Сознание того, что все это сокровище прошлого находится на его ответственном

хранении, возбуждало смешанное чувство и гордости, и радости, давало силу и уверенность. «Многое прощалось ради этого», – писал он.

В 1929 г. Смирнов был удостоен малой серебряной медали Государственного географического общества за совокупность этнографических работ.

Арест произошел 22 января 1930 года. Но тогда, видимо, удалось отменить обвинения. Все же пришлось уволиться из музея, передав дела выдвиженцу, рабочему текстильной фабрики К.И. Иванову, и покинуть Переславль. Во время отпуска нашел новое место работы – музей–усадьбу «Коломенское». Очевидно, он еще не почувствовал, что идет наступление на краеведение по всей стране. Там был снова арестован уже вместе с женой. Приговор ОСО при Коллегии ОГПУ по ст. 58–10 28 февраля 1931 г.: административная высылка в Западную Сибирь на три года «за неправильную постановку музейно-краеведной работы».

Этому предшествовали месяцы тюремного заключения. Часть их он провел в одиночке Владимирской тюрьмы, часть – в подвале тюрьмы в Иванове. Выжить помогли передачи и посылки от Лидии Сергеевны Кितिцной (жены брата – краеведа Василия Ивановича Смирнова, тоже арестованного в то время. Уже после приговора, ожидая отправки по этапу, он писал Кितिцной, что «получил посылку в такой именно момент, когда нуждался очень и горевал». Надеялся, что возьмут в госпиталь, и там он сможет поправиться на усиленном питании. Но попал не в госпиталь, а в Сибирь. Путь занял целый месяц. «Живу теперь близ реки Оби на ее притоке Кеми, верстах в 400 ниже Томска и, не доезжая до Нарыма верст 120. Это сравнительно большое село Тогур, в 8 верстах от г. Колпашово, где сосредоточены все учреждения района». «Года два тому назад здесь можно было прожить очень дешево и без труда. Теперь все кооперируется и накануне коллективизации, поэтому ничего нет для свободной продажи. Жить поэтому крайне трудно. На деньги почти не продают. Службу, которая

дает право на паек, найти и получить крайне трудно. Пробовал в нескольких местах, но ничего не вышло. Хлеб добываю путем мены белья, ибо другого выхода нет, до тех пор, пока не получу денег ли других вещей. Задолжал другим ссыльным», писал он жене.

Смирнов был признан инвалидом III группы, но это давало право на получение только 7 кг муки. Остальное надо было покупать, а еще платить за угол в крестьянском доме. Он голодал. Потом все же нашел работу плановиком-статистиком. Правда, приходилось ходить для этого в районный центр каждый день за 6 километров на больных, опухших ногах. Но вскоре учреждение, где он служил, было ликвидировано. Снова безработица. Неработающим ссыльным в кооперативе ничего не продавали. Да почти ничего и не было в продаже. И покупка чугушка у кого-то из отъезжавших, становилась событием. Потом удалось устроиться в сельхозартели счетоводом, и на какое-то время стало полегче. Но прожить без денежных переводов и посылок было невозможно. А они часто задерживались, а то и вовсе не доходили. Ожидание посылки с одеялом растянулось больше чем на год. И мучило, что жена и дети отрывают от себя, сами нуждаясь. «Не думал я быть в тягость детям и быть на их содержании, когда у них так мало для себя». Трескучие морозы и неистовые бураны, бытовые трудности, темные вечера из-за недостатка керосина, отрыв от родных, письма от которых шли так долго – все это угнетало. Утомляла тупая работа («превратился в арифмометр»). Огорчало то, что вещи его и в Переславле, и в Коломенском раскрадены. И еще очень беспокоила судьба книг и рукописей. Он неоднократно пытался их вернуть из ОГПУ. Хотелось привести в порядок, чтобы передать рукописи в московское хранилище, а книги в центральную библиотеку. Беспокоила и судьба Переславского музея, о котором доходили нерадостные слухи.

Хотя все известные краеведы были уже на Севере страны или в Сибири, но в печати поход против них продолжался. Так, в 1932 году в

журнале «Советское краеведение» была опубликована статья, о которой Смирнов писал брату Василию Ивановичу: «Бьют лежачего. Прочел творение некого В.Т. «За большевистскую бдительность». Я не узнал себя как в части биографии, так и в остальном. Все пути-дороги после такого заказаны безнадежно. Работать не дадут. Жить нечем и незачем».

Порой он признавался, что «нет времени ни для чтения, ни для писания». Невозможно было достать бумаги, чернил. Несмотря ни на что, он пытался продолжить писать очерки о Переславском крае, начатые еще во Владимире, в одиночке. Однако пришлось прекратить «ибо попал в цензуру». Находил в себе силы радоваться, когда удалось послать родным посылку с кедровыми орехами. Старался выжить. А весной 1933 года посадил огород.

Наталья Викторовна, жена Михаила Ивановича, получила так называемый «минус», то есть запрещение жить в ряде мест, и выбрала местом жительства Полтаву, где у нее были родные. Муж очень беспокоился о ней: «Мне грустно стало за тебя, что предстоит тебе холодная и голодная зима. Родная моя, переживем как-нибудь ее вдали друг от друга и будем ждать встречи с тобой весной». Разлуку с женой Смирнов переживал очень тяжело. Но нужно было получить разрешение на переезд ее в Нарымский край.хлопоты об этом продолжались больше года. А когда разрешение, наконец, было получено, выехать не удалось: здоровье дочери Сони настолько ухудшилось, что она нуждалась в материнском уходе. Соня окончила ВХУТЕМАС, вышла замуж за художника Порфирия Никитича Крылова, входившего в группу Кукрыниксов. Но полученный еще в детстве ревматизм обострился. Она долго и тяжело болела. В 1931 году у нее родился сын. Лечение не помогло. Она скончалась 21 января 1933 года. «Только приезжай, мой единственный друг, – писал Смирнов жене – Вдвоем нам поваднее будет нести бремя нашего горя. Жду тебя, жду постоянно, а время так тянется и ползет невыносимо медленно. С навигацией 1933 года Наталья Викторовна смогла, наконец, приехать в Тогур.

Вернувшись из ссылки, Смирнов работал по договору в издательстве «Academia»: готовил монографию о Переславле-Залесском для задуманной М. Горьким, но так и неосуществленной серии «История городов России». А в 1935-м сделал в музее «Коломенское» по договору выставку «Царская соколиная охота XVII века». Написал несколько работ о Коломенском. Порой он признавался, что «нет времени ни для чтения, ни для писания». Невозможно было достать бумаги, чернил. Несмотря ни на что, он пытался продолжить писать очерки о Переславском крае, начатые еще во Владимире, в одиночке. Однако пришлось прекратить «ибо попал в цензуру». Находил в себе силы радоваться, когда удалось послать родным посылку с кедровыми орехами. Старался выжить. А весной 1933 года посадил огород.

Наталья Викторовна, жена Михаила Ивановича, получила так называемый «минус», то есть запрещение жить в ряде мест, и выбрала местом жительства Полтаву, где у нее были родные. Муж очень беспокоился о ней: «Мне грустно стало за тебя, что предстоит тебе холодная и голодная зима. Родная моя, переживем как-нибудь ее вдали друг от друга и будем ждать встречи с тобой весной». Разлуку с женой Смирнов переживал очень тяжело. Но нужно было получить разрешение на переезд ее в Нарымский край.хлопоты об этом продолжались больше года. А когда разрешение, наконец, было получено, выехать не удалось: здоровье дочери Сони настолько ухудшилось, что она нуждалась в материнском уходе. Соня окончила ВХУТЕМАС, вышла замуж за художника Порфирия Никитича Крылова, входившего в группу Кукрыниксов. Но полученный еще в детстве ревматизм обострился. Она долго и тяжело болела. В 1931 году у нее родился сын. Лечение не помогло. Она скончалась 21 января 1933 года.

«Только приезжай, мой единственный друг, – писал Смирнов жене – вдвоем нам поваднее будет нести бремя нашего горя. Жду тебя, жду постоянно, а время так тянется и ползет невыносимо медленно. С навигацией 1933 года Наталья Викторовна смогла, наконец, приехать в Тогур.

Вернувшись из ссылки, Смирнов работал по договору в издательстве «Academia»: готовил монографию о Переславле-Залесском для задуманной М. Горьким, но так и неосуществленной серии «История городов России». А в 1935-м сделал в музее «Коломенское» по договору выставку «Царская соколиная охота XVII века». Написал несколько работ о Коломенском.

В конце 1936 года его пригласили в Загорский историко-художественный музей на должность старшего научного сотрудника. И с 15 января 1937 года он приступил к работе на новом месте. Директор музея, признавшийся, что сам он в музейном деле ничего не понимает, уговорил Смирнова стать его заместителем по научной работе. Ознакомившись с музеем, тот нашел ошибки в экспозиции и писал о своей надежде их исправить: «Из НКП музей перечислен в Комитет по делам искусств. Возлагаю надежду на Керженцева, так громко заступившегося за наших богатырей. Может быть, удастся при его помощи обелить Сергия Радонежского, заплеванного самым грубым образом».

Речь идет о поставленной в 1936 году в Камерном театре опере-фарсе «Богатыри», либретто которой написал Демьян Бедный. В ней издевательски изображалось крещение Руси, охаивались русские богатыри. Вскоре по Постановлению Политбюро ЦК ВКП (б) спектакль был снят с репертуара. При этом П.М. Керженцеву, председателю Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, было предложено написать об этом в газету. 15 ноября 1936-го в «Правде» появилась его статья «Фальсификация народного прошлого». Как раз во второй половине 1930-х годов, в преддверии войны, изменилась политика. И Сталин сделал ставку уже не на мировую революцию, а на патриотизм народа в будущей войне.

Смирнов выступил с докладом о Сергии Радонежском на Ученом совете музея. Выступление частью сотрудников было «принято в штыки». Тут же в местной газете появилась заметка, автор которой утверждал: «Смирнов дошел до такой наглости, что на Ученом совете выступил с

докладом, превозносящим Радонежского ”чудотворца” Сергия. Воздавая “чудотворцу” хвалу и честь, “ученый муж” зашел очень далеко и, боясь, как бы чего не вышло, сразу после доклада уничтожил свои тезисы». (Последнее было ложью). Вспомнил автор заметки и то, что Смирнов является бывшим воспитанником Вифанской духовной семинарии и не так давно отбывал заключение. Масла в огонь подлила статья одной из сотрудниц музея, опубликованная в «Рабочей Москве». В статье говорилось о том, что экспозиции музея построены «согласно антиисторической схеме Покровского, которую поддерживали и ”развивали” проникшие в ряды историков враги народа – троцкисты». Автор также полагала недостаточной антирелигиозную направленность музея, утверждала, что посетителям пытаются внушить враждебные марксизму-ленинизму взгляды, и призывала партийные органы немедленно вмешаться и оздоровить музей.

«Оздоровление» выразилось в том, что четверых сотрудников, в том числе и Смирнова, и директора, уволили, а музей закрыли на реэкспозицию. Надо отдать справедливость директору Яковлеву, не побоявшемуся дать Смирнову справку, что тот, «несмотря на короткий период его работы в музее, проявил себя как честный и добросовестный работник с большой инициативой, вполне соответствующий возложенным на него обязанностям». Но уволен он был с формулировкой: «за уничтожение тезисов о фигуре и личности Сергия Радонежского, что по существу является уничтожением документа, разоблачающего его (Смирнова) как человека, не порвавшего со своим старым прошлым, враждебным нашему Советскому строю». Смирнов обращался в суд с жалобой на незаконность такой формулировки. По решению суда через полгода был подписан новый приказ, формулировка изменена, но доводить разбирательство до Московского областного суда Смирнов не стал, отказавшись от дальнейшей волокиты. Таким образом, оказался без пенсии. Сразу после увольнения комендант потребовал освободить квартиру (в здании Митрополичьих покоев), и ее тут же занял

новый директор. В результате Смирнов остался и без жилья. В дальнейшем он продолжил работу над темой «Сергий Радонежский. Легенды и были». Закончил текст в 1939 году. До сих пор она остается не опубликованной.

После увольнения из Загорского музея, Смирнов с женой жил под Москвой в поселках по Рязанской железной дороге близ станций Томилино и Малаховка. 17 ноября 1941 г. умер их сын Всеволод, оставив вдову Нину Николаевну и двухлетнюю дочь Ольгу. В дневнике Смирнов записал: «Он был единственной опорой нашей жизни. Зачем живем теперь мы, старики, осиротелые, бездетные и никому ненужные?! Зажились. Долголетие тоже наказание, как ясно из нашего примера».

Жить стало очень голодно. Престарелый краевед писал в дневнике: «Настроение поганое: все хочется есть. Чувствую, как слабеют силы, и старость завладевает мною, не шутя. За мороженую жратву приходится отдавать последние сбережения. Все должно кончиться медленным умиранием, т.е. худшим видом смерти». Смерть сына позволила получать пенсию по потере кормильца. Но ее было недостаточно, чтобы выжить. Он стал работать книгоношей, продавая детские книжки и игры от Кассы взаимопомощи пенсионеров научных работников, как один из нуждающихся ее членов. «Книжки в сущности расходились быстро, но возить их в Малаховку было очень тяжело и тяжело было через день ездить в Москву за хлебом и др. продуктами». Потом он устроился на временную работу счетоводом в колхоз, но пришлось обращаться в суд, чтобы получить заработанные овощи. Тяжело было носить воду, пилить и колоть дрова, копать огород. Здоровье становилось все хуже. И Смирнов начал хлопоты по устройству его с женой в дом инвалидов.

В то же время он пытался издать свои труды, в том числе и книгу о Сергии Радонежском. И еще взялся консультировать писателя С.П. Бородина, автора романа «Дмитрий Донской», получившего Сталинскую премию, когда тот работал над романом «Андрей Рублев». Писатель, видимо,

и помог престарелому краеведу устроиться в дом инвалидов под Коломной. В 1943 году супруги получили места в Черкизовском инвалидном доме повышенного типа в Коломенском районе Московской области. Немного позже Смирновых перевели в другой инвалидный дом в пригороде Коломны.

И в этот период жизни Смирнов не прекратил занятия краеведением. Он вошел в Музейно-Краеведческий совет. Работал над историей Коломны и окрестностей, в том числе сел Черкизово и Мячково, участвовал в подготовке путеводителя по Коломне. Продолжал заниматься и историей родных мест. Закончил переработку своей большой работы «На Клещине озере. От варварства до социализма».

В начале 1948 года директор Переславского музея К.И. Иванов прислал ему приглашение на работу в музей, предлагая должность заведующего отделом истории и обещая бесплатную квартиру с отоплением и освещением. Но Смирнову шел уже 80-й год. Условия в инвалидном доме были неплохие. И он не решился коренным образом менять жизнь. Скончался Михаил Иванович Смирнов 2 ноября 1949 года.

К сожалению, почти ничего из рукописного наследия краеведа пока не издано. Архив М.И. Смирнова находится в двух хранилищах: ОПИ ГИМ и ГАЯО. Обзор архива М.И. Смирнова, хранящегося в ОПИ ГИМ и ГАЯО, сделан С.Б. Филимоновым: Археографический ежегодник за 1971 год. (М., 1971. С. 318–324).

*Приложение***Список опубликованных работ М.И. Смирнова,
составленный им самим**

1. Владимирские уроженцы – воспитанники Вифанской духовной семинарии. 1797–1897 гг. – Владимирские епархиальные ведомости. 1900. № 21. С. 716–725; № 22. С. 762–768; № 23. С. 803–813; № 24. С. 850–858.
2. О князьях Мещерских XIII–XV вв. – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Рязань, 1903. Т. XVIII. Вып. 2. С. 1–37.
3. К родословной князей Мещерских. – Летопись Историко-родословного общества в Москве. М., 1906. Вып. 4. С. 1–12.
4. Село Большая Брембола. – Труды Владимирской ученой архивной комиссии». Владимир. 1910. Кн. IX. С. 1–109.
5. Справка о Переславской флотилии Петра I. – Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир. 1910. Кн. XII. С. 1–14.
6. Переславль-Залесский. Его прошлое и настоящее. М., 1911. 242 с.; Сергиев Посад, 1913. 242 с.
7. Переславские соколы помытчики. – Труды Владимирской ученой архивной комиссии». Владимир. 1911. Кн. XIII. С. 1–66.
8. Больше-Брембольский дьякон Михаил Михайлов (Страничка из быта духовенства XVIII столетия). – Труды Владимирской ученой комиссии. Владимир. 1913. Кн. XV. С. 1–39.
9. К истории Переславского Федоровского монастыря. – Там же. С. 1–12.
10. Справка о нижегородских платежницах. – Действия Нижегородской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород. 1913. Т. XVI. Вып. 1. С. 26–27.
11. Нижегородские казенные кабаки и кружечные дворы XVII столетия. – Действия Нижегородской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1913. Т. XVI. Вып. 2. С. 1–196.
12. Смутные годы XVII столетия в Переславле-Залесском. – Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир, 1915. Кн. XVII. С. 1–28.
13. Соль Переславская. – Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир. 1915. Кн. XVII. С. 1–85.

14. Костромские вотчины Переславского Горицкого монастыря. – Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Кострома, 1917. Вып. VII. С. 1–46.
15. Забытая «потеха» (Из истории Переславской флотилии Петра Великого). – Доклады Пезанпроба. 1919. № 4. С. 9–12.
16. Залесский город Клещин. – Там же. С. 1–6.
17. Старые боги. – Там же. С. 7–8.
18. Александрова гора. – Доклады Пезанпроба. 1919. № 6. С. 9–13.
19. «Воровские письма» (Из быта и нравов XVII столетия). – Там же. С. 14–20.
20. Переславская ямская дорога. – Там же. С. 1–8.
21. Познай самого себя (Краткая анкета по родиноведению). – Известия Переславль-Залесского Совета. 26.07.1919.
22. Краткий физико-географический очерк Переславль-Залесского уезда. Переславль-Залесский. 1920. 12 с.
23. Переславщина. Источники и материалы для краеведения, их систематизация и обзор. – Доклады Пезанпроба. 1921. № 9. С. 1–78.
24. Переславль-Залесский уезд. Краткий краеведный очерк. – Доклады Пезанпроба. 1922. № 10. С. 1–74.
25. Частушки Переславль-Залесского уезда. – Отчеты по обследованию придорожных районов Сев. ж.д. – М. 1922. Вып. 13. С. 5–151.
26. Этнографические материалы по Переславль-Залесскому уезду Владимирской губернии. Свадебные обряды и песни. Песни круговые и проходные, игры. Легенды и сказки. – Отчеты по обследованию придорожных районов Сев. ж.д. М. 1922. Вып. 14. С. 11–98.
27. Из практики Переславль-Залесского научно-просветительного общества. (К вопросу о собирании краеведных материалов анкетным путем). – Краеведение. 1923. № 2. С. 150–151.
28. Из этнографических записей по Переславль-Залесскому уезду. – Доклады Пезанпроба. 1923. № 11. С. 22–26.
29. Провициализмы Переславль-Залесского края. – Там же. С. 18–22.
30. Указатель рукописных и изданных документов Переславль-Залесского края. – Доклады Пезанпроба. 1924. № 12. С. 1–50.
31. Памяти декабриста М.М. Спиридова (1825–1925). – Доклады Пезанпроба. 1925. № 13. С. 1–12.
32. Ленин в Горках на реке Шахе Переславль-Залесского уезда. – Призыв. 29.08.1926.
33. Ленин в Переславских горках – Красная нива. 1926. № 46. С. 14–15.

34. По забытым путям Залесья (Историко-этнографический очерк). – Доклады Пезанпроба. 1926. № 15. С. 35–72.
35. Культ и крестьянское хозяйство в Переславль-Залесском уезде. – Труды Переславль-Залесского историко-краеведного музея (далее – Труды музея). Переславль-Залесский. 1927. Вып. 1. С. 1–68.
36. О сельском хозяйстве Переславль-Залесского уезда XV–XVII вв. – Там же. С. 69–149.
37. Наставление к изучению местной историко-географической номенклатуры. Кострома. 1927. 12 с.
38. Актография Переславль-Залесского уезда XVII в. – Труды музея. Переславль-Залесский. 1928. Вып. V. С. 1–130.
39. Переславль-Залесский. Путеводитель и справочник. С 25 иллюстрациями и планом города. Переславль-Залесский. 1928. 106 с.
40. Историческая усадьба «Ботик» близ Переславля-Залесского (К 125-летию находящегося в ней Петровского музея). – Труды музея. Переславль-Залесский. 1928. Вып. IX. С. 1–77. [совместно с Б.В. Иваненко].
41. Краткая сводка эпитафических материалов Переславля-Залесского. – Труды музея. Переславль-Залесский. 1929. Вып. X. С. 70–92.
42. Справка о переславских архивах. – Там же. С. 55–69.
43. Указатель рукописных и изданных документов (актография) Переславль-Залесского края XVIII в. – Там же. С. 1–54.
44. Историко-географическая номенклатура Переславль-Залесского края [материалы для ее изучения] – Труды музея. Переславль-Залесский. 1929. Вып. XI. С. 1–139.
45. Музейная находка [керамика неолита]. – Переславский рабочий. 01.03.1929.
46. Очерки: О типах крестьянских жилых построек Переславль-Залесского уезда; Этнологическое изучение Переславль-Залесского уезда. – В кн.; Культура и быт населения центральной промышленной области / Под ред. В.В. Богданова и С.П. Толстова. М., 1929. С. 93–97; 172–173.
47. Феодалные владения переславских и иногородних монастырей в Переславль-Залесском уезде XIV–XVIII вв. – Труды музея. Переславль-Залесский. 1929. Вып. XII. С. 1–116.
48. Хулиганство, его рост и вред, причиняемый им (анкета). Иваново; Кострома. 1929. 8 с.
49. Село Черкизово. – Коломенский рабочий. 11, 23, 30.09.1945.
50. Изучайте историю своего села. – Коломенский колхозник. 12.07.1947.

51. Коломна в XVI в. (I. Кремль. II. Посад). – Коломенский рабочий.
02.08.1947.
52. Северское. – Коломенский колхозник. 15.07.1947.

Т.В. Смирнова

Заметки к книге И.Н. Ершова «Михаил Пришвин и российская археология» (М., 2012)

Автор считает Пришвина причастным к археологии собственно по двум событиям в жизни писателя: присутствие на XV Археологическом съезде в Новгороде в 1911 г. и участие в трехдневной экскурсии с известным археологом А.А. Спицыным в окрестностях Переславля-Залесского.

Судя по отрывкам из дневников Пришвина, которые приводит Ершов, Пришвин попал на съезд лишь потому, что в тот год жил в деревне под Новгородом. Он мало что понял на съезде, что, впрочем, не помешало ему назвать себя археологом и даже реставратором церкви (С. 65) и дать карикатурные характеристики участников съезда. Профессоров Московской духовной академии С.И. Смирнова и А.П. Голубцова он назвал дилетантами. («Сергей Иванович и другой дилетант ищут страну (развел руками на мосту)» (С. 66). И автора, как и Пришвина, видимо, незнакомых с их научными трудами, это нисколько не смущает (С. 80–81), как не смущает и то, что Голубцов скончался 4 июля 1911г., то есть еще до открытия Съезда (22 июля 1911 г.)¹.

Надо отметить, что практически всегда автор находится на стороне М.М. Пришвина. Особенно отчетлива его позиция, когда речь идет о пребывании писателя в Переславле и отношениях с заведующим местным музеем краеведом М.И. Смирновым, отношение к которому у автора явно предвзятое. Например, если сотрудник Переславского музея энтомолог С.С. Геммельман нравится Пришвину, то разве может Ершов допустить мысль, что как раз Геммельман и писал доносы на Смирнова?! И при этом позволяет себе, не имея никаких оснований, высказать подозрение по поводу других сотрудников музея (С. 134).

¹ Голубцов Сергей. Московская духовная академия в начале XX века. Профессура и сотрудники. Основные биографические сведения. М., 1999. С. 33–34.

И уж, конечно, Ершов надеется, что письмо, написанное Пришвиным в Главнауку «для удара по Смирнову» не достигло своей цели, а, может, даже и не было послано (С. 162).

Смирнов мечтал о создании в Переславле своего рода Барбизона, тем более что в городе уже жили художники Кардовские. Ершов усмехается: «Это были, мягко говоря, незаурядные, можно сказать, даже наполеоновские планы провинциального краеведа» (С. 124). Но что «наполеоновского» в естественном желании человека, чтобы родной край отразился в произведениях художников и писателей? Прошли годы, и открылся ведь в 1956 г. в Переславле Дом художника, благодаря чему образ города и окрестностей был запечатлен многими живописцами.

Иначе как домыслами, никак нельзя назвать беспочвенное предположение автора, будто бы Смирнов опасался конкуренции со стороны Пришвина, человека случайного в Переславском крае (С. 124).

Ершов сравнивает текст пришвинских «Родников Берендея», научного отчета Спицына и **краткие** записи «Воспоминаний» Смирнова (С. 141–142), умалчивая или не зная, что Смирновым был опубликован подробный очерк об этнографической экспедиции 1925 года.² И считает: надо верить Пришвину, что экспедиция была одна (С. 131, 141). Понятно, что Пришвин как беллетрист вполне мог, создавая художественное произведение, объединить две поездки в одну. Но Смирнов, называя кратковременную поездку с археологом А.А. Спицыным экскурсией, так поступить не мог.

Неуместно выглядит словечко «**якобы**», вносящее оттенок недостоверности, во фразе о том, что А.И. Анисимов и Г.И. Чириков забрали в Переславском музее икону «Преображение» для реставрации (С. 120). Икона и сейчас находится в Третьяковской галерее³. Можно рассуждать о

² «По забытым путям Залесья. Историко-этнографический очерк» // Доклады Пезанпроба. 1926. № 15. С. 35–73.

³ Антонова В.И., Мнева Н.Е. ГТГ. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т. I. Кат. 217. С. 257–258.

том, следовало или не следовало задерживать икону в Центре, но нельзя же ставить под подозрение сам факт.

Ершов повторяет гнусные слухи, записанные не менее гнусно Пришвиным, что будто бы Смирнов был осужден за казнокрадство. Но он был осужден по статье 58 п. 10 (пропаганда и агитация, содержащая призыв к свержению советской власти), по которой обвинялись сотни тысяч людей.

С нескрываемым удовлетворением автор пишет, что Смирнов не смог оправиться от ареста и ссылки и умер в нищете и безвестности (С. 130). Однако жизнь и работа Смирнова после возвращения из ссылки опровергают такое мнение⁴.

Порой автор не замечает противоречий в собственном тексте. Так, он утверждает, что одной из причин переезда Пришвина в Переславль была оплата «по **организации** биостанции» (С. 123), а на следующей странице соглашается с А.Л. Никитиным, который пишет (и справедливо), что биостанция в усадьбе «Ботик» создана была по инициативе М.И. Смирнова. Замечу, что в той книге А.Л. Никитина «Голубые дороги веков» (М., 1968), на которую в данном случае ссылается Ершов, это высказывание отсутствует.

Ершов утверждает, что Смирнов не был практикующим археологом, потому будто бы и приглашал археолога В.А. Городцова (С. 131). И тут же пишет, что открытый лист брал именно Смирнов, то есть ему выдавали разрешение на раскопки как практикующему археологу (С. 137).

Ершов называет Н.П. Анциферова, опубликовавшего статью «Беллетристы–краеведы» петербургским литературоведом и советником Центрального бюро краеведения (ЦБК), а саму статью (не давая почему-то ее названия) – «заказной». И утверждает, что тот «лично глубоко не знал ни писателя, ни его творчества». (С. 162–163). Непонятно, почему надо **лично**

⁴ Жогин И. В. Научная и общественная деятельность историка М.И. Смирнова в Коломенском крае (1943–1949 гг.). М., 2009. (Дипломная работа студента 5-го курса РГГУ).

знать писателя, чтобы судить о его произведениях. Ершов подчеркивает, что Анциферов был «коренным петербуржцем, обитателем Царского Села». Замечу, что Анциферов коренным петербуржцем не был⁵. Он прекрасно разбирался в творчестве самых разных писателей и блестяще сделал сравнение между ними. При этом Анциферов непосредственно занимался и краеведением: в 1926 г. по заданию ЦБК знакомился с краеведческой работой в западных областях страны, в 1927 г. участвовал в краеведческих съездах и был избран в действительные члены ЦБК⁶. Статью можно назвать заказной, но не внося в это определение негативного оттенка, как делает Ершов. И дело тут вовсе не в том, что, как он считает, Спицын «отводил возможный ответный удар от Смирнова», посоветовав тому передать свою статью Анциферову. Эрудиция последнего позволила осветить проблему соотношения краеведения с художественной литературой в целом, взяв в качестве одного из примеров пришвинские «Родники Берендея».

Только домыслами автора можно объяснить появление этой статьи в связи с конспиративностью поездки А.А. Спицына (С. 162).

Создается впечатление, что автор относится к М.И. Смирнову с пренебрежением и недоброжелательством. Например, он не считает нужным привести о нем отзывы о нем таких ученых, как А.А. Спицын, С.Ф. Ольденбург и других, лишь упоминая, что они были (С. 131). Не приводит и мнения Спицына о Пришвине, который по воспоминаниям Смирнова, «понял его как хищника», хотя на этот отзыв даже пытался обратить внимание Ершова археолог В.И. Вишневский.

Ошибки и неточности касаются и других лиц, упоминаемых Ершовым. Так, автор считает В.И. Смирнова (брата М.И. Смирнова) преемником И.А. Рязановского на посту директора Костромского музея в 1920-х гг. (С. 45). Но Рязановский был одним из основателей **Романовского** музея. В.И. Смирнов

⁵ Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992.

⁶ Там же. С. 414–415.

был назначен директором **Костромского** музея в 1917 г., а Рязановский с 1915 г. жил в Петрограде. Вернувшись в Кострому, он работал в областном архиве, а не в музее.

К тому же Ершов называет ярославско-костромских краеведов, в том числе братьев Михаила и Василия Смирновых, **молодым** поколением, воспитанием которых будто бы занимался И.А. Рязановский (С. 188). Но Рязановский родился в 1869 г., а М.И. Смирнов – в 1868-м, то есть И.А. Рязановский был на год моложе М.И. Смирнова. Автор к тому же не знает, что Переславль в те годы находился во Владимирской, а не в Ярославской губернии. В Ярославскую область Переславль переведен в 1936 г., то есть уже после кончины Рязановского.

Ершов пишет, что В.И. Смирнов был осужден на 10 лет и сослан в Архангельск (С. 130). Но в 1930 г., когда В.И. Смирнов был арестован, максимальный срок административной высылки был три года и, а не 10. Автор не знаком с историей репрессий сталинского времени. Тогда десятилетних сроков высылки не было. Неверны и слова автора: «...после возвращения из ссылки В.И. Смирнов...». Он не возвращался, а жил и умер в Архангельске. Неточно и утверждение, что В.И. Смирнов «трудился на ниве краеведения и археологии». Да, он занимался в архангельский период и тем, и другим, но главным были занятия геологией.

Автор утверждает, что Л.С. Кितिцына (жена В.И. Смирнова) «содействовала посмертным публикациям работ своего мужа» (С. 128). Это не соответствует действительности: у нее не было такой возможности. Но она много сделала для сохранения памяти о нем. Так, ею написан большой труд о нем, недавно опубликованный⁷. Ошибается автор, когда ссылаясь на И.В. Белозерову, упоминает какую-то внучку В.И. Смирнова, занимающуюся

⁷ В.И. Смирнов. Народ в тюрьме (1930–1931). Кितिцына Л.С. Материалы к биографии В.И. Смирнова (1882–1941). Сергиев Посад, 2011.

материалами из фондов братьев Смирновых в ОПИ ГИМ. Таких сведений Белозерова автору не давала, так как прекрасно знает, что такой внучки нет.

Удивляет и то, что, пользуясь какими-то разговорами, Ершов пишет, что у В.И. Смирнова и Л.С. Кितिцыной не было прямых потомков. Существует их дочь – Т.В. Смирнова, составитель этой книги⁸.

Автор упоминает Д.И. Введенского, как преподавателя «в разных семинариях» и краеведа-любителя (С. 161). Но прежде всего, Д.И. Введенский был профессором Московской духовной академии (1909–1919 гг.). Непонятно, что значит по отношению к этому человеку определение «краевед-любитель». В то время ни в каком учебном заведении специальности «краевед» не давали⁹. Такое определение автор применяет и к некоторым другим лицам.

Ершов невнимательно прочитал Пришвина. Не район назывался «Графы», а «бывших», которые жили в районе, называемом Красюковка, так стали называть. Ершов пишет, что «представители дореволюционной столичной интеллигенции», которых он почему-то называет «представителями **прослойки** населения уездного городка», не имели права находиться в Москве, упоминая Флоренских, Трубецких, Голицыных, Фаворских, Шаховских и др. (С. 165). Об этих семьях см.¹⁰ Выселены из Москвы были только Голицыны, да и то лишь в 1929 году¹¹. О. Павел Флоренский и художник В.А. Фаворский жили в Москве, приезжая к семьям

⁸ Якушкина М.М. Обзор фонда Василия Ивановича Смирнова // Труды ГИМ. М., Вып. 136. С. 368.

⁹ В 1920-х гг. Д.И. Введенский занимался изучением игрушечного промысла в Сергиевском уезде, выпустил книгу «У сергиевского игрушечника» (Сергиев, 1927). А его очерк «Кустарная промышленность и промысловая кооперация», опубликованный в сборнике «Сергиевский уезд» 1925 г. был отмечен как один из лучших: *Артюхов Я.* Обзор литературы по описанию уездов Московской губернии // Московский краевед. 1927. № 1. С. 62.

¹⁰ *Смирнова Т.В.* «Под покров Преподобного». Очерки о некоторых известных семьях, живших в Сергиевом Посаде в 1920-е годы. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2007.

¹¹ *Голицын Сергей.* Записки уцелевшего. М., 1990. С. 418–421.

в Сергиев (Загорск) на выходные. (В Москве есть Музей-квартира О. Павла Флоренского на улице Бурденко). Остальные по разным причинам жили в Загорске, но свободно ездили в столицу.

Хочется особо отметить, что автор постоянно использует слова «вероятно», «очевидно», «возможно» и т.п. Он охотно пользуется всевозможными предположениями. Ему так хочется, чтобы состоялись встречи писателя с В. А. Городцовым, с Н.К. Рерихом (С. 32, 81). Ведь они были так возможны! Складывается впечатление, что построение разнообразных гипотез и включение в текст не до конца проверенных фактов является сознательным приемом, входящим в методологический арсенал исследователя. Вот один из многих примеров: автор полагает, что в Загорске могли происходить встречи Пришвина с Никитиными, хотя сам замечает, что Пришвин ничего об этом не пишет (С. 157). Между тем, Никитины приехали в Загорск в 1940 г., а Пришвин в 1937 г. уже уехал из Загорска. И А.Л. Никитину, на которого Ершов несколько раз ссылается, тогда было четыре годика.

Ершов приписывает открытие стоянки «Польцо» брату М.И. Смирнова Василию Ивановичу (С. 137–138). Основание: А.Л. Никитин в **художественном произведении** со слов П.Н. Третьякова сообщает такие сведения¹². И автор развивает эту мысль, пытаясь доказать: ну никак не мог М.И. Смирнов открыть эту стоянку (С. 128). А между тем, в воспоминаниях М.И. Смирнова сказано, что в 1924 г. он ездил на лодке по реке Вексе и на Сомино озеро с целью обследования берегов в археологическом отношении. Именно таким и был маршрут экскурсии с А.А. Спицыным на следующий год. И незачем было В.И. Смирнову ездить в 1924 г. на экскурсию с фольклористом Ю.М. Соколовым под Переславль (С. 132). В.И. Смирнов в том году был заместителем начальника Верхневолжской этнографической

¹² *Никитин А.Л.* Возвращение к Северу. М., 1979. С. 43.

экспедиции Института истории материальной культуры под руководством Д.А. Золотарева по **Костромской губернии**¹³.

К сожалению, список неточностей, ошибок в книге Ершова можно продолжать и продолжать.

¹³ *Смирнов В.И.* Народ в тюрьме (1930–1931). Материалы к биографии В.И. Смирнова (1882–1941). Сергиев Посад, 2011. С. 126.

М.И. Смирнов

М.М. Пришвин в Переславле-Залесском

Свой переезд из Талдома в Переславль Пришвин печатно объяснил так:

«Пете [его сыну] сказали в школе, что вторая ступень у них преобразуется в семилетку, он получит свидетельство об окончании, а если хочет дальше учиться, то надо переехать в другой город. А мы уже и раньше думали, как бы податься куда-нибудь поближе к воде, и списались с Переславлем-Залесским, где находится прекрасное Плещеево озеро... Как раз в этот день получился ответ от заведующего Переславским музеем, что в Переславле школа недурная, и при музее ребятам можно хорошо заниматься краеведением, что в трех верстах от города на высоком берегу Плещеева озера есть историческая усадьба, где хранится ботик Петра Великого, и тут есть пустой дворец, в нем предполагается устроить биостанцию, и если я положу этому делу начало своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце».

В действительности все было иначе. Пришвин скромно умолчал о прямой необходимости уехать из Талдома, вызванной его неуживчивостью. Туда он попал благодаря гостеприимству и дружескому участию писателя Сергея Клычкова, в доме отца которого он и поселился. Здесь он, как и в других предшествовавших этому местах своего обитания, вскоре же обострил отношения и так озлобил против себя всех, что ему уже пора было искать себе новое место. Местные краеведы тут же вдогонку писали о нем: «Давший идею образования нашего общества писатель М. Пришвин весь собранный им материал, а также чужой труд других работников общества увез с собой и ничего не оставил обществу».

Ничего этого я не знал, как не знал и самого Пришвина, с которым случайно встретился на конференции Госплана в феврале 1924 года. Со мной познакомился он сам. В перерыве между докладами я одиноко сидел в зале, как

ко мне подошел с шапкой черных волос широкоплечий крепкого сложения человек и отрекомендовался мне, назвав себя «писатель Пришвин». В руках у меня был изданный мною краеведный очерк Переславль-Залесского уезда. Попросил у меня эту книжку, и прочитав мою фамилию, расспросил, не в родстве ли я с покойным Сергеем Ивановичем, профессором церковной истории, и с Василием Ивановичем, директором Костромского музея. Сказал, что он знаком с ними и что теперь знает всех братьев Смирновых. Попросил сделать на книжке надпись, что я и исполнил. На этом мы расстались и больше никаких встреч и разговоров не было за всю конференцию.

– Вася, – говорю я брату, бывшему на конференции, – кто это Пришвин, вроде цыгана или бандита? Такое отталкивающее впечатление произвели на меня его серые наглые глаза, что мне просто не по себе. Да еще говорит, что Сережу и тебя знает?

– Да ведь это друг Сережи. Он нередко бывал у него и его работу о «Бабах богомерзких» изложил потом в своем художественном стиле. Я тоже дал ему теперь свою «Легенду о черте», – Успокоил меня, что Пришвин известный писатель и что мое первое впечатление ни на чем не основано.

Этот эпизод был мной забыт, как вдруг осенью (30/X–24 г.) я получил от Пришвина такое письмо:

Я помню Вы увлекли меня рассказами о Ваших местах. И вот я держу план приехать к Вам и работать над Вашими материалами. Я пробовал здесь (в Талдоме) устроить общество изучения края, но у меня ничего не вышло, потому что я хорошо умею писать и наблюдать, но люди за мной как-то не идут. Не сужу их: сам плох! Мне хочется прислониться к серьёзному краеведу и помогать не по обязанности, а самим фактом работы моей в литературе над местными материалами. Знаю, как Вы любите свой предмет, и уверен, что обрадуетесь: как-то все краеведы ко мне прекрасно относятся...

Принял я это обращение за чистую монету, забыл о первом впечатлении и написал в ответ самое любезное приглашение, не придав значения его же

откровенности, что он «плох» и что за ним «люди не идут». Я был поглощен мыслью художественного изображения родного мне Переславского края, скудно затронутого художественной литературой, о чем отмечено было мной еще в справочнике-руководстве по изучению нашего края – «Переславщине» (1921), и составил специальный сборник из стихотворений и разных отрывков прежних авторов и своих земляков – Н.И. Колоколова, Н.В. Жукова, А.П. Романовского и других, давших вобщем десяток стихотворений для «Родного Залесья», как назван был этот сборник. Я действительно «обрадовался», как писал Пришвин, – опустить такой редкий случай, когда явилась неожиданная возможность привлечь к моей краеведной работе такого крупного беллетриста, я не мог. Мечтал о создании в Переславле своего рода Барбизона: здесь были налицо свои художники – Д.Н. Кардовский, его жена О.Л. Делла-Вос, привозил сюда К.Ф. Юона (побывав раз, из-за неудобства сообщения по железной дороге он отказался), А.В. Григорьева и других. Комната в музее для приезжавших: писателей, художников, фотографов, артистов, научных работников – всегда стояла открытой, с полным гостеприимством. Свободна она была только зимой, а в остальное время постоянно населена. Отдать ее под квартиру Пришвину я не мог, а предложил ему во дворце на Ботике. Там в самом начале революции устроена была научная станция, в которой из года в год работал по изучению планктона Плещеева озера профессор-гидробиолог Д.А. Ласточкин со своими сотрудниками, а затем до приезда Пришвина обосновалась географическая станция I МГУ под руководством профессора В.Ф. Пиотровского.

Предлагать поэтому, как печатно заявил Пришвин, «устроить на Ботике биостанцию» я не нуждался и такого условия не ставил. Фенологические наблюдения давным-давно велись членами Научно-просветительного общества, что подтверждают печатные труды общества. Научно-краеведная работа шла полным ходом, и «полагать начало своим фенологическим наблюдениям» Пришвину не пришлось. Он опоздал, и его печатное заявление не больше как «литературно-художественный» вымысел, или, попросту говоря,

вранье, – он собирался, что и отметил в своем письме, «работать над нашими материалами», иначе сказать, над чужими, над готовыми, как он поступил с моими братьями.

Никаких условий относительно его работы здесь я не ставил, и поэтому его заявление: «если я положу начало этому делу своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце» – не соответствует действительности. Я мог дать ему только свободную южную часть дворца, незанятую научными станциями.

На свое письмо я получил от Пришвина такой ответ:

Очень Вы обрадовали меня Вашим письмом, которое было совершенно в духе моих отношений с Василием Ивановичем и, особенно с покойным Сергеем Ивановичем. Итак, условия все подходящие, через какую-нибудь неделю или того меньше я буду у Вас на разведке. У нас теперь в семье только и разговоров, что о Переславле. Все изучили Вашу книжку прекрасно и теперь уже не напишут Переяславль, как он начертался до XV века (а почему-то тянет выговорить с я).

Большое Вам спасибо за предложение комнат в музее (Петровском на Ботике). Я надеюсь, однако, что это не понадобится, раз в городе можно найти себе какую-нибудь берлогу.

Из-за чего не еду сразу? А вот что: чтение Вашей книги и повторение слова Залесье вернуло меня к постоянной моей думе о борьбе нашего крестьянина с лесом. Это чувство леса, как беса, давно утрачено европейцем, и вот хорошо бы на этом построить сочинение...

Ну, вот и сижу с этим дома, из опасения, что в Москве беготня по редакциям вышибет из головы новую затею. Я несколько дней думаю, укреплюсь и прямо к Вам.

Всего доброго, до свидания. (23/XI–24 г.)

Свидание это состоялось только в феврале следующего (1925) года, почти через три месяца после письма. О «лесе как бесе», если только он

действительно думал, можно было придумать немало, но, приехав, он уже не говорил об этом ни слова и потом почти не вспоминал. Что-то «вышибло» эту тему или она еще только нарастала.

Впечатление опять было неблагоприятное. Не только я, но и моя жена, и музейные работники, увидев в первый раз Пришвина, в один голос говорили мне о внушенной им антипатии. Пробыл он у меня два дня (16–17/II), в течение которых я принимал его как гостя, много беседовали. Наблюдая за ним, я действительно заметил высокомерный холодок, сознание необыкновенной своей литературной важности, вообще получился смутный тогда осадок чего-то неприятного и грубоватого, или, точнее, неджентльменского. Мы были на Ботике. Я показал ему, где предполагаю поместить его. Квартира в прекрасном каменном доме, вполне благоустроенном, понятно, понравилась ему сразу и ни о какой «берлоге» в городе не было и речи. После деревенской талдомской избы квартира в четыре великолепных комнаты с кухней прямо поразила его и при этом отдавалась почти даром: я назначил ему плату сто рублей в год или по 8 р. 50 к. в месяц. На том и порешили: он переедет сюда, как только ликвидирует дела в Талдоме. Так как Талдом всего в 80 верстах от Переславля, то я советовал проехать с имуществом, пока зима, на санях, или же по железной дороге до станции Берендеево Северных железных дорог через Москву.

Он избрал второй путь, и явился ко мне с женой 1 апреля. В противоположность ему, его Ефросинья Павловна, несмотря на свой простецкий вид, произвела на нас хорошее впечатление, простого, умного и добродушного человека. Нас порадовало это, что как бы уравновешивало обе стороны. Встречены были они мною, что называется, «с родственными объятиями», на которые сам Пришвин не реагировал нисколько, сразу показал какую-то отчуждённость, лишённую простой любезности. Поместил я их временно в комнате для приезжающих Горицкого музея, угостил великолепными переславскими сельдями в копчёном виде, что было принято как должное.

Ездили на Ботик. Квартира, обращенная окнами на юг, оказалась почти лишенной сырости, только кое-где по углам можно было заметить ее. Достаточно было нескольких дней, чтобы протопить печи, как можно было жить. Пришвин поторопился переехать, не дождавшись полной подготовки квартиры. Сторож на Ботике Иван Думнов, о котором в «Родниках Берендея» сказано: «один из тех, что с Петром (Первым) думу думали», а на самом деле в возрасте лет 35-ти, отдаленный потомок петровских «думцев», взялся прислуживать Пришвину по части рубки дров, подноски воды и прочего. «В доме нашлись какие-то козлы, доски, из которых мы сделали столы и кровати», отмечено в «Родниках» (С. 29), а на самом деле было так: знаменитый писатель привёз с собой на редкость убогий инвентарь – кроме сундука, небольшой стол и плетёное кресло, мне поэтому пришлось снабжать его для большой квартиры столами, диваном, комодом, шкафом и прочей мебелью, в том числе для кроватей козлами, имевшимися в этом доме, так что строить ему столы и кровати не приходилось. Старался обставить его как можно лучше и удобнее, создать ему такие условия, чтобы ничто не мешало работать. И действительно, обстановка, в которую он попал после Талдома, была превосходная. Помимо прекрасной квартиры, самое местоположение на берегу Плещеева озера рядом с лесами, что для охотника важно, вблизи селений и самого города, притом в пункте громкого исторического значения, ставило художника-писателя, расположившегося на житье, в исключительно редкие условия. На него хлынула и теснила его масса напоминаний о давно прошедших переживаниях предыдущих поколений, и в то же время на него смотрела современная жизнь. Неудивительно, что, попав сюда из башмачной стороны через станцию Берендеево, он стал «берендить» и считать занятый им дворец «сказочным дворцом Берендеева царства».

Оценив достоинства нового места, Пришвин поспешил заключить со мною квартирный договор на пять лет. Требование шло с его стороны, причём по его желанию внесен был пункт, что в случае отказа в продолжении договора

по истечении полного срока та и другая сторона предупреждает об этом за полгода, в случае же досрочного нарушения контракта виновная сторона уплачивает другой неустойку в размере шестимесячной арендной платы, то есть 50 рублей. Заручившись этим документом, Пришвин с торжеством потом рассказывал о сделке. Его спрашивали: «А зачем Вам договор?» — «Как зачем, а вдруг погонит, теперь шалишь, я обеспечен на пять лет»... Ефросинья Павловна рассказывала, что его не только гоняли с квартиры, но раз чуть не убили крестьяне.

Не подозревая этого и имея в виду основную цель: помочь созданию художественно-литературного произведения о родном мне крае, в своих частых беседах с ним я насыщал его краеведными сведениями настолько исчерпывающе обильно, насколько я знал и печатал за свои последние 25 лет. Все, что добыто было моим трудом за эти годы по исследованию Переславщины в архивах, печатных изданиях, путем опросов и личных наблюдений, выкладывалось ему полностью в точной и научно-правдивой формулировке. Давал ему мои печатные работы и вообще шел навстречу ему с величайшей готовностью. Как бирюк, он сидел больше у себя и редко бывал в Горицком музее.

Чувствуя неловкость, что ничем не реагирует на мою предупредительность, он не раз говорил мне: «Вот приедет Руднев, привезет портвейну, и мы устроим настоящее новоселье». Я приписывал его положение стесненности материальных средств, но затем наблюдал, как он в моем присутствии посылал за самогоном, когда ему понадобилось угостить одного заинтересовавшего его попа, описанного потом в «Родниках» под именем Фили...

Не так важно было мне его новоселье, как дружеское сближение. Временами мне казалось, что в новой обстановке он стал душевнее и лучше начальных впечатлений, что, сживаясь с новой средой и обстановкой, он сближался со мной. «Вот, — думал я, — нашел-таки человека — художника,

который прославит захиревший Переславль». Втянул я Пришвина в нашу работу, познакомил с музейными работниками и членами Научно-просветительного общества (Пезанпроба). На одном из заседаний последнего он внес предложение связаться с биостанцией юных натуралистов в Сокольниках. Проездом через Москву там он побывал и расхваливал постановку дела. Его уполномочили списаться с бюнами и пригласить оттуда представителей к нам в Переславль на пасхальные каникулы. Никакого другого постановления не было, и напечатанное в «Родниках» (с. 27) о квартире «заведующего фенологическими наблюдениями на Ботике» – художественный бред *post faktum*.

Приехали три довольно взрослых паренька из бывших беспризорников, один матрос. Они дали богатую поживу Пришвину как мастеру-беллетристу. В «Родниках» он уделил им много места, расписав их довольно верно по наружности «бандитами» (у них был наган), по развитию малограмотными недорослями, но с задорной уверенностью в собственных силах. Я не стану много говорить о них, дополню только одним: все они были истрепанные предыдущей жизнью, матрос страдал странной привычкой скакать. В отведенной музейной комнате он беспрерывно прыгал и свалил лампу, которая разбилась вдребезги. На прощанье стреляли из револьвера и прострелили стекло в окне. Пришвин знал об этом, но дипломатически умолчал. Под видом своего понимания и сочувствия к ним, в сущности, он высмеял их, выбивавшихся на новую дорогу жизни. Мало что дали они нам. С нашими бюнами при музее связей у них не наладилось: наши были и гораздо юнее, и культурнее. Ни с музеем, ни с научным обществом те тоже не сошлись. Обещали прислать других представителей, но так и не выслали. Сношения больше не возобновлялись. Инициатива Пришвина, таким образом, провалилась.

Сила инициативы по изучению родного края была не на его стороне, а на стороне местного музея и научно-просветительного общества, и Пришвину

пришлось вливаться в нашу работу и в той или иной степени принимать в ней участие эпизодически с целью дальнейшего насыщения его переславщиной. Самостоятельно же он, как художник-писатель, осваивался в новой обстановке и привычным ему методом наблюдал новых людей и новые неизвестные дотоле места.

Самого города Переславля целиком все еще не видел, и только когда после сокольнических буюнов приехал давно желанный Руднев, тоже писатель, просил показать им музей и весь город. Устроили длительную экскурсию: сначала в Горицком, затем осмотрели старый город с его земляной крепостью, собор XII века и прочее, пошли за город в Никитский монастырь, оттуда на Клещино городище и Александрову гору. Обошли пешком километров 15, проходили целый день, в течение которого я давал подробнейшие объяснения по поводу каждого уголка и памятника прошлого, говорил с большим подъемом и увлечением о родной старине. Экспансивный Руднев беспрестанно восторгался. Пришвин также был доволен всем виденным и слышанным от меня; потом части этого он включил в «Родники Берендея». Привезенный портвейн в количестве полбутылки мы распили для подкрепления сил на обратном пути и так справили обещанное новоселье.

По намеченному плану моей краеведной работы в июне предстояло осуществление задуманной ещё в прошлом году экспедиции на лодках из Переславского озера по рекам Нерли – Кубре.

Нужно сказать, что мои юные краеведы из старших учеников второй ступени сговорились проехать на лодке по Нерли до самого устья ее на Волге. Это была собственная их инициатива. Мне оставалось только инструктировать их относительно собирания краеведческих материалов и, главное, описания самой реки, ее фарватера, глубины, ширины и прочего. Ведь это был древнейший водный путь новгородцев в Ополье, связанный с другой Нерлью. Что представлял теперь собою он, никаких сведений я не находил. Ребята успешно проехали туда и обратно и дали мне описание Нерли, хотя и не

научное, но достаточное, чтобы судить в общих чертах о современном состоянии реки. Измучились и изголодались они дорогой сильно, но приобрели богатый опыт и не потеряли охоты к дальнейшим походам в этом роде.

Их прошлый опыт и лег в основу кольцевой поездки на лодках частью по той же Нерли и далее по ее притоку Кубре до верховья, чтобы привезти потом лодки на подводах. Вся поездка должна была происходить в пределах только переславских и с таким расчётом, чтобы 14 июня, в день «крапивного заговенья», быть в деревне Лихарево, где справлялся ещё старинный обряд, уцелевший единственно только там. Намечено это было задолго до приезда Пришвина, и его замечание в «Родниках» (с. 86): «мы задумали с историком исследовать языческий обряд „крапивное заговенье“» напоминает известное «мы пахали»...

Поехали на трех лодках, причем видевшая на Нерли виды молодежь впереди, ибо по таким речкам как Кубря, прегражденная мельницами и запрудами для верш, приходилось нередко пускать в ход топор и пилу. Одни мы без них не могли бы проехать. Цель экспедиции была комплексная: попутно изучалась и природа, и жизнь населения, прошлая и настоящая. Подвел нас геолог, он же фотограф, обманул нас в последнюю минуту, отчего экспедиция значительно обесценилась. Провели мы на лодках девять дней (с 12 по 20 июля) в довольно дождливую и нетеплую погоду, проехав водою около 150 километров. Все измучились, устали и надоели в некоторой степени друг другу. Пришвин дорогой хвастовал по-охотничьи своими собаками, ружьями и меткостью стрельбы и при этом безбожно пуделял. У него был финский нож, которым он колот сахар, и когда я раз взял его, чтобы последовать его примеру, он вырвал его у меня под предлогом, что я испорчу его. За эти дни я пригляделся к нему ближе и во мне началось колебание: хорошо ли я сделал, что впустил его в Переславль. Как бы не нагадил он?

Описание этой экспедиции он напечатал потом в «Красной Нови» (1925 год, № 8 и 9), а я в «Докладах научного общества» (1926 год, № 15). Свой рассказ он оборвал эффектным изображением «крапивного заговенья», я же довел описание до конца нашего пути и даже до конца самых верховьев Кубри, которые обошел я уже один пешком. Пришвин включил сюда же археологические разведки А. А. Спицына, что составляло в реальности последующий эпизод, имевший место через месяц в июле того же года.

Так как Пришвин никогда не видал археологических раскопок и мечтал, по его словам, написать какой-то археологический роман, то я пригласил его сопровождать нас с Александром Андреевичем [Спицыным], приехавшим ко мне на три дня. Мы отправились на открытые мной неолитические стоянки: сначала на реке Вёксе и затем далее на озере Сомине. Близ деревни Хмельники, по моему предложению, было обследовано место жальничных погребений и груды каменных всхолмлений на Стуловой горе. Когда возвращались с раскопок Плещеевым озером, Спицын и Пришвин завели оживленный разговор между собой. Я сидел на веслах и внимательно слушал молча. Речь шла о том, что один только талант в человеке это не все, стоимость и достоинство человека определяется вместе с тем характером отношений его к окружающим, что довольно часто талантом обладают порочные люди. Спицын защищал моральную сторону и говорил, что истинный талант ценен не сам по себе, но непременно своей этической природой. Пришвин защищал право таланта и давал ему полную свободу нарушения условностей. Приводились примеры разных исторических личностей. Самый тон разговора был мирный, корректный, двух умных людей. Я не мешал им и слушал в сторонке. Оставшись наедине с Александром Андреевичем, я спросил его: почему он завел этот разговор с Пришвиным и что вообще думает он о нем? «Потому что ваш Пришвин — хищник, — ответил мне добрейший А. А., видевший его впервые, — я и завел разговор с ним о таланте и пороке»...

Я стал опасаться за то, что напишет о моей родине Пришвин. Писателей, творцов художественной литературы, лично никого не знал и судил о них в простоте душевной по их произведениям, идеализировал их, как людей одаренных не только литературным творчеством, но и всеми добродетелями человеческого достоинства. <...>

Его «Колобок» и другие рассказы, которые мне дарил или давал на время читать, были живо и увлекательно написаны прекрасным языком. Как они создавались, я не имел понятия, но гарантировали, казалось мне, не один художественный стиль, а и реальную правдивость, так как я высыпал перед ним все о нашем настоящем и прошлом: на – бери и созидай. Жизнь сильнее и красочнее выдумок, а она давалась ему так, как она есть.

Писал Пришвин чаще по ночам, при этом пил крепкий чай и считал, что он очень полезен ему в работе. В 12 часов ночи подавался ему самовар, и весь дом замирал, требовалась абсолютная тишина. В трех комнатах оставался один, а жену и двоих сыновей помещал в маленькой комнате и кухне, собакам разрешалось оставаться у него. Писал он быстро и помногу. Я старался получить рукопись для прочтения, но он лично читал разные выдержки, в которых я не находил особых искажений и все же делал разные замечания. Мне удалось убедить, чтобы он прочитал ее в заседаниях краеведного общества, происходивших при Горицком музее. Но читал тоже с большими пропусками, как это стало ясно впоследствии, и все же ему сделано было немало возражений на допущенные им искажения и неправильности. В заключение устроили ему овацию и высказывали пожелания успеха его книге о Переславщине.

На другой день я получил от него письмо. В нем он, между прочим, писал:

Что касается платы за помещение во время производства моей краеведческой работы, отрывки которой я читал в последнем заседании „Пезанпроба“, то я прошу пересмотреть вопрос о плате, потому что при подобных моих исследованиях на всём пространстве России, от Архангельска

до Каркаралинска, ни одно государственное учреждение никогда не брало с меня платы.

Значит, он хотел жить даром. Мне пришлось разъяснить ему, что Переславль-Залесское научно-просветительное общество, на собрании членов которого он читал свои отрывки, не есть государственное учреждение, а добровольческая организация, в которой все мы работаем и печатаемся бесплатно. Музей же, хотя и государственное учреждение, затрудняется это сделать по целому ряду соображений: его личную квартиру нельзя считать «биостанцией» музея, ибо таковая была только в его воображении и в напечатанных затем «Родниках». На самом деле это была жилая и рабочая площадь лично его самого. Материалы для его произведения все давали ему бесплатно. Самая плата за квартиру была ничтожная. В деньгах, как это выяснилось, он не нуждался, ибо умудрялся получать гонорары за одну и ту же вещь из разных редакций. А главное, думал я, бесплатный квартирант на вечные времена – его и не выживешь: он без конца будет строчить «краеведческие», так сказать, работы. Просьбу его поэтому отклонил, написав ему в возможно мягких тонах о невозможности удовлетворить его.

Он, видимо, не очень осердился, просто попробовал – нельзя ли сорвать за чтение. Компенсировал я его другим способом: устроил у себя бесплатно на квартире его сына Петю, товарища по школе моего Всеволода, но, понятно, с платой за питание. Было это и дешево и выгодно писателю, а кроме того, в культурной семье приучало мальчика к культурному режиму. Он даже не умел пользоваться вилок за едой и первое время брал жаркое с тарелки прямо руками. Связующей нитью между нашими семьями стал Петя. Частью от него, а также от Ефросиньи Павловны нам стали известны некоторые подробности о Пришвине, его семейном деспотизме, обратившем жену в прислугу, о его непоседливости и неуживчивости, вызванными не одними исканиями таланта новых впечатлений, но также дурным его характером, оскорблениями и мстительностью, вынужденными отъездами и чуть ли не бегством поневоле.

Меня удивило, что у них в квартире нет ни одной полки с книгами. На это мне объяснили, что библиотеки нет, и Пришвин чужого не читает, что действительно я заметил по своим книгам, взятым им на прочтение. Что говорил он потом по поводу их, повергло меня в большое изумление, как чушь, и мне пришлось убедиться, что он их и не открывал.

Хотя осенью мы не навещали один другого, но через детей знали, что делается тут и там. Мы узнали, что в «Красной Нови» произведение Пришвина принято было с большой готовностью, что дела их денежные улучшаются, что предполагается специальное издание в Госиздате особой книжкой «Родников Берендея». На Ботике знали о музейных и моих личных делах и, между прочим, о праздновании в ноябре моего 25-летнего юбилея, разрешенного Главнаукой. Кроме того, Пришвин получил официальное приглашение от музея. Чествовать меня собрался из разных городов цвет тогдашнего краеведения. Не буду перечислять их имен <...>. Скажу только, что не постеснялись дальностью и неудобством пути (20 верст на лошадях в мороз) свыше 20 человек из Ленинграда, Москвы, Костромы, Дмитрова, Сергиева, Ростова, – профессора и заведующие музеями. Они привезли кипу адресов и приношений книгами, дали блестящую оценку моей работе. Чем ободрили и утешили меня сердечно. Я переживал очередной нажим от местного исполкома. И его заправилы отомстили мне приказом, запрещающим учреждениям и организациям Переславля приветствовать меня. Переславцев, желавших засвидетельствовать свое уважение ко мне явилось все же немало – большая музейная аудитория была полна. Я оказался в положении доктора Штокмана. Что меня поразило, так это отсутствие Пришвина, писавшего за несколько времени перед этим моей жене:

Мне прислали повестку на собрание Пезанпроба по поводу празднования юбилея, было грязно, и я не пошел и совершенно не подозревал, что дело идет к юбилею Михаила Ивановича.

Боюсь, что мое отсутствие будет неверно понято, и прошу Вас, когда приедет Михаил Иванович, сказать ему об этом и попросить его известить меня с Петей, когда же надо придти на юбилей: я искренне желаю на нем быть.

С Петей жена послала ему записку, Петя прекрасно знал день юбилея, и сам М.М. знал, официальное приглашение он получил. Чего же больше?

Меня осаждали вопросами со всех сторон, а особенно писатели Александр Яковлев и Александр Руднев, приехавшие на юбилей, отчего нет Пришвина? Создавалось впечатление весьма невыгодное для меня: грызусь со всеми. А я был чист и прав в отношении исполкома и писателя Пришвина. Наутро в двух розвальнях ездили гурьбою осматривать Переславль, заехали на Ботик, сказали нам, что Пришвина нет. А дома меня ждало поздравительное письмо, в котором он писал:

Крайне смущен, что не могу лично присутствовать. Случилось на грех, что как раз выпала пороша и получилось известие: обложено 18 волков! Дело не в охоте как таковой, но помнит, в одном из первых моих писем я говорил, что еду в Переславль главным образом за волками, совершенно необходимо для своего лесного романа. Крайне трудно это объяснить, но Вы поймете меня и извините.

После оказалось, что в эти дни никакой охоты на волков не было, как не был он участником подобной охоты и далее в течение наступившей зимы. Дело было в чем-то другом. Александр Яковлев объяснял это «боязнью публики и публичности», которой якобы страдал Пришвин, подобно Чехову. Но в данном случае публика-то была своя, в числе ее мой брат Василий Иванович, его друзья-писатели. Краеведу Пришвину, писавшему мне, что «все краеведы к нему прекрасно относятся» представился исключительно благоприятный случай общения с краеведами.

Но краеведу Пришвину, опубликовавшему в «Красной Нови» свой особый краеведный метод и свысока и даже отрицательно относившемуся к

детальной научной работе краеведов, или, проще говоря, оплевавшему краеведов – рядовых работников, было страшновато появляться среди них. Многие уже успели прочитать в журнале его «записки фенолога». Ему могли дать бой. Неприемлемость и неправильность его точки зрения образцово разобрана потом Н.П. Анциферовым в его статье «Беллетристы-краеведы». Я не стану повторяться и отсылаю желающих к этой работе. Замечу лишь то, что Пришвин – «краевед» особенный, желающий казаться каким-то сверх-краеведом, владеющим могучей интуицией, заменяющей ему такую мелочь, как наука. Как краеведный орел он парит надо всеми, а кропотливое изучение – участь рядовых краеведных работников, каких-то муравьев. И вот этот орел трусливо уклонился защищать свою точку зрения, сбежал куда-то в лес. «Бегают нечестивец ни единому же гонящу». Наблюдил и скрылся.

А наберендил он в своих «Родниках» свыше всякой меры не только о краеведном своем методе, а и в описании самого лица края. Для посторонних читателей, в глаза не видавших Переславль-Залесский, он дал живо и занимательно написанную книжку, прекрасным языком, с массой эффектных сцен, часто комического характера, вывел ряд персонажей разнообразного типа и характера, ярко очерченных в «берендеевых» красках и тонах, блещет топонимикой края, не говоря уже о художественных картинах природы. Его книжка имела успех. «Не знаю уж, каким только изданием выходит моя книжка „Родники Берендея“, – хвастал он (уж будто-бы он-то не знает!), – посвященная этому краю, написанная под соснами на этих кручах. Знаю наверно, что знатные люди нашей страны (назову Веру Николаевну Фигнер), прочитав мою книгу, ездили смотреть и озеро, и реку Вексу», понятно, в первую голову и самый Переславль.

Пусть это так. Но переславцев, прекрасно знающих свои места, окружавших их лиц, и в частности, и в общем, его книжка не удовлетворила и раздосадовала, как дешевенькое зеркало, в котором вы не узнаете свою физиономию. Слишком много в ней фальшивого, утрированного ради эффекта.

Ни одного замечания, сделанного ему после чтения в научно-просветительном обществе, он не принял в расчет и исправлений не внес. Знал, что фальшивит, и все же фальшивил: так ему нужно было по плану. Мои запоздалые опасения оправдались. Не я использовал Пришвина, а он умело и бесцеремонно использовал созданную ему обстановку и дал описание Переславщины на манер фельетона, рассчитанного на неосведомленного читателя. И писал он замечательно быстро. В том же июле, когда приезжал Спицын, он успел уже окончить свою работу, отправить в редакцию журнала, выпустившего ее в августовской книжке. Отличаясь богатейшей памятью, он ничего не записывал предварительно, а торопился под живым впечатлением вылить слышанное и виденное на бумагу. Натерелое авторское перо спешило блеснуть новизной материала и поскорее схватить гонорар.

Своему первому и самому обширному произведению, написанному здесь, дал интригующее и претенциозное название – «Родники Берендея». Оно сложилось, по его словам, еще до приезда в Переславль, по моему письму, в котором я упомянул железнодорожную станцию Берендеево.

Какие удивительные есть имена, – отмечает он, – как они на меня действуют: дворец [на Ботике] мне явился сказочным дворцом Берендеева царства, и пошло, и пошло в душе берендить.

– Ну, Берендей, сказал я себе, – думать тебе больше нечего (с. 20).

Переехав же на жительство в этот «сказочный дворец», он почувствовал себя на манер сказочного царя Берендея из «Снегурочки» Островского. Но на восьмом году революции прямо называть себя царем Берендеем было нельзя, рискованно. Поэтому он скромно именуется «Берендеем», а жену «Берендеевна» с большой буквы, а пришедших к нему на поклон берендеев, как и подобает, с маленькой.

Прочитайте эту псевдо-идиллическую сцену на страницах 70–72. Переславцу она смешна, фальшива и нелепа. Заберендил человек. Чтобы попасть на Ботик из отдаленных Половецкого и Ведомши, надо было, не

продавая своих продуктов в Переславле, приехать к Пришвину занарок. Затем, никто из них не мог продавать домотканого сукна, ибо таковое прекратили производить еще до революции, а тем более кружев, которых никогда не выработывали в селах, а лишь на фабриках города Переславля. Не могли берендеи нести такую чушь о «добрых и недобрых» селах, как это написал он, ибо таких сел или нет, а если и есть, то в других местах. Нахватавшись от меня здешней топонимики, которой я посвятил специальную работу, Пришвин взял из нее, что позвончее, и без всякого отношения к реальности заиграл ими. Ведь они тоже «удивительные имена» и тоже «подействовали» на него. Они зачаровали его наряду с термином «берендей» и некстати собраны в кучу. У него не хватило фантазии дать им надлежащее место и лучшее оформление не потому только, что он спешил писать, а просто по недостатку фантазии и по его бесцеремонности по отношению к краеведческой точности.

Из дальнейшего изложения видно, что Пришвин именем берендеев окрестил переславское население (с. 80), а сам он – главный Берендей, хотя и из приезжих. «Ярик, – обращается он к своей собаке, – давай с тобой устроим на Ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг нас верст на 25 остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все зверье, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в нее будут допускаться только немногие, доказавшие особенно силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру».

Как отсюда следует, «родники» разные: на Ботике в его заповеднике – Берендеева академия высшего творчества, а за пределами его все мелкие родники, но все же Берендея, одни побольше, другие поменьше, среди них чистые и мутные, одним словом, всякие. По собственному признанию автора, оказывается, он «не любит маленького (даже) насилия над собой, чтобы войти в чужую эпоху, и даже замечал (за собой), что иногда с ненавистью смотрит на памятники старины (с. 83). Вот уж это не по-берендеевски. Без понимания

«чужой эпохи» (а в Переславле всё сплошь для него чужая эпоха веков и даже тысячелетий) уж никак не Берендей, а просто ловкий самозванец, облачившийся по-актерски в костюм и маску Берендея. Его пленила поза и роль, совершенно не подходящие ему. Чтобы играть роль Берендея, притом играть правдиво и жизненно, нужно глубоко чувствовать прошлое Переславского края, на каждом шагу насыщенного теми или иными остатками старины, надо здраво и объективно разобраться в нём, а не «смотреть с ненавистью».

А.П. Чехов писал: «Прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого».

Ничего не теряйте из прошлого. Только через прошлое можно творить настоящее, – утверждал Анатолий Франс.

Не понимая того, что в таких давно оседлых местах, как Переславль, можно браться за перо, за изображение «лица края» не с одной интуицией, а непременно с предварительной исторической зарядкой, Пришвин взялся не за свое дело, хотя и пишет:

*Я пользуюсь для изображения края своей врожденной способностью объединять пережитое, впечатления от жизни, от прочитанного и представлять все лицо, которое в повестях называется **героем**. В конце концов этот **герой** берется из самого себя, из своих собственных мыслей и чувств. Но вместо того, чтобы отдавать свои мысли и чувства вымышленному лицу, я отдаю их тому краю, который меня интересует, и так получается край, как живое существо. Я полагаю, что этот простой прием не изменит мне и теперь, и, описывая моменты встречи моей с краем, я получу картину, которую невозможно получить, складывая вместе работы ученых, исследующих край в области своей специальности (с. 89–90).*

А если изменит? Что-то похожее на авось – «авось вывезет». При описании края талдомских сапожников, может быть, достаточно было «этого простого приема», но для выявления сложного и исторически богатого

Переславского края маловато, да еще при его нелюбви к старине, требующей напряжения для ее понимания.

Художественных описаний природы, написанных Пришвиным с присущим ему мастерством, касаться я не буду. Автор любит и чувствует ее. Все же кое-что биологам показалось странным: зацвела, например, весной заячья капуста, цвести которой полагается осенью. Ехидно улыбались они по этому поводу и взяли под подозрение его фенологические наблюдения. Но все же в общем природа у берендеев как есть природа: у них озера, реки, леса, пашни, звери, птицы, травы и так далее. Останавливаться на этом не стоит, все это в порядке вещей – что есть и что можно встретить в средней полосе страны.

Другое дело люди и их дела. Слив воедино все рассеянные по фенологическим рубрикам родники Берендея, получим нечто такое самобытное и декоративно-красочное, что не найдешь и днем с огнем ни в каком другом месте. Из этих родников, можно ожидать, получится если не море, то берендеево озеро, говоря метафорическим языком автора; а прозой – полная и разносторонняя картина прошлой и современной жизни берендеев-переславцев.

Вот их город – центр экономический, административный и культурный. Ему на исходе восьмое столетие. Переславль-Залесский один из активнейших строителей Великорусского государства – родина знаменитого Александра Невского и наследственный удел его потомства. Из переславской территории он выделил Московское княжество для младшего сына, а затем со смертью бездетного переславского внука обе половины снова объединились, усилив Москву в ущерб другим княжениям. Последняя обязана своим усилением и возвышением, прежде всего и более всего, Переславлю-Залесскому.

До разорения татарами-завоевателями он был заметным культурным центром: имел своего летописца и писателя, что возродилось в ином виде только в XVI веке, когда Александрова слобода, входившая в территорию Переславского уезда, обратилась в резиденцию царя Ивана IV.

При Петре I Переславль стал базой корабельного строения, базой первичной организации морского флота.

Как в эпоху речных путей, так равно в эпоху колесных Переславль был большим придорожным городом, торговым и экономически значительным. Но в XIX веке с проведением железной дороги в обход его по злой и преступной воле местных воротил, катастрофически обратился в захолустный.

Тем не менее, ещё во второй половине XVIII века в нём возникла фабричная промышленность: прядильная, ткацкая, красильная и другие. Одна из этих фабрик пережила революцию и работает сейчас («Красное эхо»), здесь также развилась механическая выработка прошивок, кружев и прочего. Восточная окраина города, населенная фабричными рабочими, в революцию образовала поселок – «Пролетарский городок». Половина населения Переславля рабочие с их семьями. Западная сторона города, упирающаяся в озеро, так называемые Рыбаки или Рыбная слобода – оригинальный архаический уголок, причем большинство рыбаков работает также на фабриках.

Старое и новое переплелось внешне и внутренне заметными и ярко характерными чертами. С первого взгляда доминирует старый феодальный лик, со множеством церквей и бывших монастырей, но нужно быть слепым или намеренно закрыть глаза, чтобы не видеть отживание прошлого и молодой сильный рост настоящего.

Так в действительности, а в изображении Пришвина вы встречаете лишь упоминания о некоторых именах и памятниках прошлого, записанные как затверженный с чужого голоса урок без всякого проникновения в сердце пережитых городом веков. Но зато вы находите пространное повествование о зайце, который жил в переславских капустниках. Сомнительному анекдоту он посвящает целые страницы (с. 36–40). Отмечает Рыбную слободу, умиляется чайкам, шьет у рыбацкого попа сапоги и не жалеет красок расцветить другого попа Филю, сделав из него форменный гротеск, весьма выигрышный в общей

коллекции берендеев, но удаленный от реальности. Поп Филя, как комический сюжет из фарса, блещет на многих страницах «Родников» и едва ли не самый законченный и наиболее ярко очерченный берендей.

Из советских учреждений города Пришвин подробно останавливается на музее, помещающемся в упраздненном еще при Екатерине II монастыре. Миновать его он никак не мог, так как вся завязка дела, давшая материал для «Родников», органически оказалась связанной с ним. Но это не помешало автору внести нелепую отсебятину. Он буквально пьянеет от звучных топонимических имен и играет на диссонансе их созвучий. «Где находится наш музей, – пишет он, – называется Пречистая на Горице, а самая земля, на которой стоит Пречистая, называется Вшивая горка, и на Вшивой улица Свистуша, теперь переименованная в улицу Володарского» (с. 21). Что ни слово, то грубое искажение, неприемлемое для переславца. Горица, на которой стоит бывший монастырь, это одно, рядом с ней вторая горка, расположенная на ней улица – Вшивая, в полукилометре далее на восток за Московским шоссе – улица Свистуша. Ведь указывали Пришвину на этот, казалось нам, промах, он выслушал и не исправил. Так забористее, считал он. Такие же нарушения точности, и, так сказать, адресности топонимических названий он бесцеремонно тыкает везде. Не зная, где находятся те пункты, куда их следует поместить, он клеивает их наобум, где попало (например, Татин куст, но не «Татын»), как он пишет, Черторой и другие, см. с. 101 и 108). По краеведчески ли это?

Другая подчеркнутая им черта относительно музея – это его «колокольные средства» (с. 86–90). Создается впечатление, что музей только и жил ими. Опять шарж и одностороннее сгущение красок. Переславский музей содержался тогда на государственные средства, весьма небольшие. В дополнение к ним разрешалась по декрету Совнаркома продажа церковных вещей из ликвидируемых монастырей и церквей, дававшая так называемые спецсредства. Колокола продавались Рудметаллторгу, центральное управление

часть этих денег отчисляла музею. Эти деньги не были значительны, но вместе с другими увеличивали скудный бюджет.

Напрасно искать на страницах «Родников» хотя бы простого упоминания о городских фабриках и фабричных рабочих, их нет. Какие же рабочие в царстве Берендея? Они портят и нарушают всю картину, поэтому их побоку. Не только рабочих, но и самой революции здесь не было (с. 31–32) – одни берендеи, живущие по-берендеевски безмятежно и идиллически.

Если таков город, то деревня и подавно махрово берендеевская, не знавшая, что такое революция. Но описания самой деревни в «Родниках» нет, ее иллюстрируют отдельно выхваченные берендеи. Одни из них, как пахарь или Павел (с. 62–63), «сдвинулись» от революции. Другие остались «первобытными» людьми (таков Николай, работавший на раскопках) (с. 100–116). Самые раскопки описаны с ложным пафосом чего-то таинственного и чуть ли не суеверного. Психика Николая передана с большой утрировкой. Все было проще и естественнее. Это просто литературный прием Пришвина.

Но где он правдиво изобразил берендеев, так это на их празднике в честь Ярилы, на «крапивном заговенье» (последнее воскресенье перед Петровками). Фактически, конечно, немало им сокращено, но в общем тон верный, описание обряда, по существу, правильное и эпизод с «бабами богомерзкими» подлинный. Общее впечатление у нас троих (с нами был еще художник Покровский) было чрезвычайно сильное, мы живо чувствовали вакхический отголосок давно минувшего культа и не в каком-нибудь актерском исполнении, а в традиционном лицедействе деревенской массы, в ее переживаниях.

Вот если бы Пришвин везде остался правдивым и честным художником, как в этот раз, его «Родники» были бы любимой книгой чтения в Переславле. Но он столько напихал в неё своей персональной всякой всячины, так испортил ее тщеславными претензиями на руководящую краеведную роль, покушениями замаскировать дело с квартирой, выставить себя «разночинцем» (с. 50), тогда как был помещиком, – одним словом, так выявил свои отрицательные черты,

что, как ложка дегтя портила кадку меду, так и его несимпатичная манера отталкивала нас от его произведения. Если старания его направлены были на то, чтобы выставить себя премудрым Берендеем, то всех других он рисовал теми красками, какими хотел. Ни одному из этих живых людей, прежде чем напечатать, он не открыл, как именно расписал их. Немудрено, что нашлись обидевшиеся на него, и притом обидевшиеся справедливо. А так как повинен был в Пришвине я, то ко мне и посыпались претензии. Я оказался в положении свата, которому полагается «первая чарка и первая палка».

Бесспорно, Пришвин творил «Родники Берендея» так, как он писал и все другое. Он писал не ради правды и любви, а ради заработка. Решительно все равно ему, Талдом или Переславль. Они нужны ему лишь как объекты гонорара и больше ничего.<...> Извлекая, что ему нужно, отбрасывал и переходил к другому. И новые места, и новые люди ему интересны постольку, поскольку можно заработать на них, ценит их на монету. Поэтому его творчество и отличается фельетонно-газетной быстротой, поверхностностью, украшается разными трюками в стиле покойного Лейкина и его «Осколков». Ему удалось подобрать в «Родниках» смачный букет из цветов определенного характера и преподнести его для развлечения читающей публики, как пикантную картинку. Поищите-ка в самом деле в советской революционной земле другой еще такой уголок с берендеями. Не найти. А Пришвин нашел, неважно, что в собственной фантазии и извращении действительности, а важно, что вышло ново и сенсационно.

На тех, кто любит свой край, на коренных переславцев, его «Родники» произвели впечатление халтуры нехорошего тона. Особенно неприятно это было мне, ожидавшему большего. Конечно, есть известная польза и от того, что он написал. Стали знать, что за горами за долами на берегу прекрасного озера есть забытый древний град Переславль, через это обратили на него внимание. Это привлечет других художников слова, и они найдут здесь иные темы и разработают их с честной правдивостью и красотой.

Ошеломлённый чтением «Родников», я избегал встреч с Пришвиным. Опасался, что не удержусь и наговорю ему неприятностей. Пришлось свидеться под Новый год. Съехались дети на Святки. Соня привезла из ВХУТЕМАСа подругу, здесь вертелись дети Пришвина. Молодежь решила устроить встречу Нового года костюмированным вечером. Чтобы потешить, я нарядил всех в прежних времен костюмы. Получился довольно разнокалиберный ансамбль: одна девица в кокошнике, другая в кринолине, мальчишки – кто во фраке, иной в мундире. Было чудно и весело им. Но не явился Пришвин, обещавший быть к определенному часу. Оpozдал часа на три, очевидно кобенинся и не хотел придти. Наконец явился в двенадцатом часу. Сели за ужин, выпили по рюмке водки. Нелегкая дернула писателя хвостануть, какой фурор произвели его «Родники Берендея», цитировал чей-то отзыв. В голову ударило мне это вместе с водкой, как шлепок. Меня, что называется, прорвало, и я выложил ему свою горькую обиду напрямки. Говорилось это несдержанно, с нескрываемым огорчением.

Новый 1926 год начался, таким образом, отвратительно. Я осуждал себя потом, что с такими типами надо полегче: худой мир все же лучше ссоры. Пришвин свирепо обиделся, перестал при встречах кланяться, я тоже. Отчуждение полное. Но Петя продолжает жить у меня на квартире до самого окончания учебного года в мае или июне. Держать его дальше стало неудобно. Я отказал, на что Пришвин обиделся еще больше. Поместил сына к Кардовским, где, кроме 20 рублей ежемесячной платы, требовалось от мальчика ежедневно носить воду для дома от колодца и колоть дрова для кухни и печей.

Связь музея с Пришвиным поддерживал мой помощник С.С. Геммельман. Любопытный тип: по происхождению дворянин, по образованию межевой инженер, по профессии купец вследствие женитьбы на переславской купчихе Шаланиной, сонаследнице других сестер. Офицер запаса, городской голова при Временном правительстве, затем нэпман. В молодости он напечатал томик

стихов, а дальше любительски увлекался энтомологией и имел значительную коллекцию бабочек и жуков. Когда нэпманов ликвидировали, Геммельман сбежал ко мне в музей, куда я звал его организовать естественно-исторический отдел. Прикрепить его к музею, как лишенца, стоило мне крупных неприятностей и борьбы. Я рисковал тем, что меня самого выгонят из музея, но уладил дело при посредстве Главнауки. Когда приехал Пришвин, Геммельман работал первый год. Автору «Родников» он весьма понравился, как «честный и способный» человек (с. 24). Последнее несомненно, но честность его вот какова. Чтобы смыть с себя клеймо лишенца, в течение ряда лет он тайно писал обо мне, куда полагается, сообщения и доносы, провоцировал и, в конце концов, добился своего. Я пострадал высылкой в Нарым, а он остался в музее и затем преблагополучно был переброшен в Ярославский музей, где окончил свои дни.

В последующих мелких рассказах Пришвина, написанных после «Родников», он фигурирует нередко с эпитетами не только честного, но и нежного, сердечного. Вот этот преисполненный высоких добродетелей лишенец в конце лета принес известие с Ботика, что Пришвин продал Госиздату полное собрание своих сочинений и покупает за десять тысяч рублей в г. Сергиеве, теперь Загорске, двухэтажный дом. А ведь как приbedнялся, сердечный! Как ему хотелось жить на дармовщинку во дворце и как он вообще скупо жил! Такова уж кулацкая натура, унаследованная от Алпатовых. Лирику Фету жесткая практическая сноровка, обогатившая его, не помешала писать чувствительные стихи, а Пришвину – его рассказы. Одно дело талант, другое человек, – хотя и в одном лице, они живут разной жизнью. Примеров этого немало.

1 октября Пришвин уехал в собственный дом, прожив на Ботике ровно полтора года. По контракту он должен был уплатить неустойку в размере полугодовой платы, о чем и написано было ему от музея. Ну, где тут. На эту мелочь он не обратил и внимания, а судиться с ним охотников не нашлось.

Я вздохнул свободно. Конец, думаю, неприятностям. Забудем один другого. Но не тут-то было. По отъезде он напечатал в «Красной Ниве» небольшой рассказ «Образование», в котором цинично оболгал память моей матери, священную для нас, ее детей, память мученицы в жизни и страдальцы от пьяного отца. По его изображению, основанному, якобы на рассказе крестьянина Большой Бремболы, я и мои братья Сергей и Василий, с которыми он был таким приятелем, получили высшее образование на средства, добывавшиеся нашей матерью путем связи с каким-то богатым соседом-вдовцом. Наше образование он ехидно высмеивал, как купленное ценой позора. Клеветать так подло и бесстыже способен только мерзавец. Никакого вдовца из знакомых не было ни по соседству, ни вдали. Время от времени навещал наш дом вдовец – родной брат нашей матери. И только. От нас, детей, не укрылось бы ничего. Ничего похожего на это никто из нас не замечал, ибо никакого позора в нашей семье не существовало. Здесь царило полное согласие и любовь между родителями, пока отец во вторую половину его жизни не обратился в алкоголика. Происходило все это на моих глазах, как старшего сына. Приход отца был небольшой, средств от него получалось не много. Но сыновья и не потребовали их на свое высшее и даже среднее образование: они учились частью в семинарии и оба (Сергей и Василий) в академии на казенный счет, а я окончил Археологический институт пожилым человеком, состоя на чиновничьей службе. Так именно было в действительности.

Я чуть не заболел, прочитав эту мерзость Пришвина, за которую следовало побить ему морду или начать судебный процесс. Написал сейчас же брату Васе и советовался, как быть. Он отговорил меня от того и от другого и предложил в виде выхода передать дело на суд истории, описав его, как было. Только поэтому я и взялся за перо, чтобы написать свои горькие воспоминания о Пришвине. Реабилитировать память дорогой мне матери и показать в истинном свете писателя Пришвина — вот что руководило мной.

Мужик ругается по-матерному, а как назвать поступок высококвалифицированного автора? Пожалуй, похуже матерщины. Но такова уж его природа: где бы он ни был, везде оканчивал пакостью. В Талдоме обокрал краеведов, а в Переславле закидал грязью.

Подлец! – скажут скептики,

Не зная диалектики...

Надолго я забыл Пришвина, прошел с тех пор почти десяток лет, как вдруг он печатно вспомнил меня в своей убогой статейке «Дубровский». Только полный профан в истории «Журавлиной родины» и слабо осведомленный пушкинианец мог написать такую заметку да еще предлагать, чтобы его материал «побудил историка литературы проверить предполагаемую мной связь пушкинского Дубровского с народным сказанием о графе Дубровском».

Заболотье Дубровское, куда он ездил на охоту десяток лет и прошлое которого, по своему обыкновению, он не поинтересовался узнать, никогда не принадлежало никакому графу. Владельцем его был стольник Федор (Богдан) Петрович Дубровский, бывший за границей по посольским делам, сторонник и домашний человек царевича Алексея Петровича, давший ему совет отдаться под покровительство австрийского императора, за что был казнен в 1718 году. На роскошном евангелии, пожертвованном им в свою сельскую церковь, никакого упоминания о Троекурове нет, а лишь одно имя Ф.П. Дубровского и далее только перечень имен ближайших родственников. Никакой Кистеневки в окрестностях не существовало, и в своем краеведном очерке Переславль-Залесского уезда я, понятно не упоминал о ней.

Герой Пушкина Дубровский и пришвинский граф Дубровский, таким образом, не имеют ничего общего между собою, и искать между ними какой-то связи можно только такому «фольклористу», как Пришвин. Мне стало смешно, и я колебался, что лучше сделать: выступить ли против него печатно, или просто написать письмо, пристыдив его невежество по-домашнему. Мою

заметку могли похоронить в редакции, где меня не знают, и где печатают всякую дребедень Пришвина. Я решил избрать второй путь. Написал ему без указания своего адреса подробное письмо, в котором разъяснил ему курьезность его неудачных потуг примкнуть к кругу пушкинианцев, и дал историческую справку о Дубровском – владельце Заболотья. И что же вы думаете? Во второй книжке «Советского краеведения» он помещает заметку «Еще о Дубровском», состоящую из выдержки моего письма с коротким добавлением, в котором нахально утверждает, что раз Пушкин приезжал в д. Сергиевку к Ушаковым, то все сказанное мной не имеет значения, а он, Пушкин, прав. Ухитрился получить с редакции гонорар даже и за мое письмо.

Таков М. М. Пришвин.

Октябрь 1938.

P.S. Недавно попала мне на глаза его «Сказка о покупке дома в Загорске» (из книги «Большое гнездо»), в которой он вспоминает свое житье в исторической усадьбе Ботик близ Переславля-Залесского. «Так хорошо мне было здесь, – откровенничает он, – что перестало даже тянуть вдаль, и очень возможно, что я бы тут навсегда и остался». Но, верный своей манере не считаться с фактом, свою квартиру во дворце (кстати сказать, новой постройки, 1853 года) называет холодной, состоящей из двух комнат, (а не из четырех). Заговорив о Берендеевом болоте, без стеснения преподнес небывалое археологическое известие, что в нем «при торфяных разработках нашли каменную бабу, чуть ли не современницу самого царя Берендея». Ничего подобного не было. Пришвин слышал старую легенду, выданную им за факт. Упомянув о моем брате Сергее Ивановиче, сделал его автором книги «Старчество в Древней Руси», никогда не писанной им. Пришвин перепутал: Сергей Иванович издал труд «Древнерусский духовник», что далеко не одно и то же. Сомнительно, чтобы он читал его, как и «Капитал» Маркса.

Свой дом в Загорске он называет «небольшим домиком», что совсем неверно: дом двухэтажный, низ каменный, верх деревянный, в нем не

меньше 5–6 комнат. Приобрел он его по дешевке. Сейчас надо заплатить за него не менее 30 000 рублей.

«Старушка просила за домик по состоянию моего кармана того времени огромную сумму – три тысячи рублей! И уступить ничего не хотела». Зачем нужно было прибедняться, ведь деньги у него были!

Писатель Александр Степанович Яковлев квартировал тогда в Москве, а Пришвин почему-то изображает его живущим в Загорске.

Действительно, только в сказках можно не считаться с действительностью. Нелегко будет биографу Пришвина составить по ним подлинную биографию его: столько он нагородил выгодной ему фантастики в своих писаниях о себе, что к ним, как к древнерусским «житиям», необходимо сугубо критическое отношение.

Сентябрь 1939

Н.П. Анциферов

Беллетристы-краеведы

(Вопрос о связи краеведения с художественной литературой)

Художественная литература многообразными путями питает интересы общества. В своём развитии она разрешает и свои особые задачи – художественного порядка, так как она является одним из видов искусства. Вместе с тем из нее можно черпать, как из родника живой воды, многое потребное для различных отраслей жизни. Политик, общественный деятель, ученый часто обращаются к ней, как к источнику, в котором струятся воды жизни. Искусство, несомненно, находится в глубокой связи с ходом истории и судьбою культуры, но эта связь совсем другого порядка. «Да, оно остается самым чутким, самым чувствительным аппаратом человечества». (П. Муратов.)

Искусство есть способ познания мира. Он лежит между инстинктом и разумом. Как инстинкт – искусство отражает жизнь путём интуиции, как разум – оно истолковывает ее. Интуиция, согласно мысли А. Бергсона, дает познаваемый предмет целиком, при этом все элементы его постигаются на основе целого и из целого. Это, конечно, не полная характеристика интуиции, но для нашей задачи можно ограничиться и этим.

Художественная литература заключает в себе богатый материал, отражающий в образе тот «уголок земли», который стремится познать краевед. Следует ли краеведу, подобно другим исследователям, обращаться к художественной литературе для облегчения разрешения своих задач? Что является конечной его познавательной задачей? (Познавательной, а не действенной, так как последняя требует пересоздания своего края в направлении осуществления тех возможностей, которые требуются общественным благом).

К чему стремится краевед как исследователь? Все разнообразные направления, борющиеся в настоящее время между собою в современном краеведении, согласны в одном: познавательная цель краеведения – изучение своего края в полноте присущих ему элементов – (целокупное знание). Краевед-исследователь в своих работах имеет дело с конкретной индивидуальностью, нигде больше не повторяющейся. Он изучает свой край, который является по существу *единичным явлением*, причём изучает его целиком, *постигает все элементы его на основе целого и из целого*, в их живой, реальной, непосредственно раскрывающейся ему связи. Сопоставив эти мысли с характеристикой интуитивного познания, мы должны сделать неизбежный вывод: *без интуиции краеведение не сможет осуществить своих познавательных задач.*

В художественной литературе мы можем найти богатый и разнообразный материал, освещающий жизнь страны в образах искусства. *Интуитивный метод познания мира художника в известном смысле родственен и вместе с тем нужен краеведу.* Знакомство, с этой точки зрения, с литературой не только может дать новое знание, но и помочь развить некоторые подходы к материалу, без которых немислимо целокупное знание. Если политик, юрист, врач, ученый иногда опираются в своей работе на художественную литературу, то тем более следует краеведу прибегать к беллетристике для осуществления своих целей.

Однако помощь беллетриста краеведу этим не исчерпывается. В деле популяризации его интересов художественная литература сможет также оказать существенную услугу. По выражению одного видного краеведа, беллетрист служит лучшим посредником между ученым исследователем-краеведом и трудящимся населением. Яркие образные страницы, в которых отразился край, с его природой, с его людьми, с их бытом и трудом, с их мыслями и верованиями, смогут легче привлечь внимание и возбудить интерес, чем даже лучшие страницы специалистов-исследователей.

Современное краеведение стремится к экстенсивности работы, к приданию ей широкого общественного характера. Произведения художественной литературы, в которых имеются «краеведческие мотивы», смогут содействовать популяризации интересов к родному краю.

Художественную литературу в данном случае следует понимать в наиболее широком смысле. Для нас существенно найти материал, в котором отражен край в художественной форме, в котором творческая интуиция привела к «виденью целостного образа» многоликого края, или же к познанию одного из его ликов (обличий). В этом отношении могут оказаться ценными не только беллетристические произведения, но и удовлетворяющие этим требованиям другие виды литературы. В *мемуарах*, например, в «Былом и думах» А. Герцена или «Записках революционера» П. Кропоткина, имеются места большой художественной силы, в которых отражены различные местности нашей родины. То же следует сказать и о *дневниках*, в которых, однако, в силу их особенности, описания встречаются редко. Иногда можно найти такие описания в *письмах*, например, в изданной переписке с матерью и женой русского философа *Ф. Степуна*. В отдельных статьях, помещённых в журналах и газетах, встречаются талантливо начерченные картины жизни края. Вспомните в сборнике «Россия» № 1 статью современного писателя Андрея Белого, посвящённую описанию московской улицы – Арбату. Но самым ценным источником для краеведа являются *путевые заметки* во всех их видах. Это утверждение может показаться спорным. Не есть ли краеведение – изучение края силами людей, крепко сросшимися с ним своей жизнью, своим трудом? Неужели так ценно то, что может сказать местным людям проезжий человек, взор которого лишь скользит по ландшафту края? То, что коренному жителю стало известно благодаря постоянному общению, благодаря трудовому воздействию, что кровно слилось с ним, об этом будет судить поверхностный взгляд путешественника! Чтобы точнее поставить вопрос и отчетливее обрисовать

его сущность, условимся сопоставить двух наблюдателей, приблизительно равно одаренных талантом восприятия и даром передачи. Кого предпочесть: местного жителя, в лучшем случае аборигена, или же странника, случайно и ненадолго занесённого в край? Кто из них яснее выявит неповторяемый облик края? В силу существенных особенностей восприятия каждый из них сможет увидеть и отметить своё особенное. Местные жители полнее знают свой край в его постоянном состоянии. В длительном общении с ним слагался их образ своего края. В нём находят отклик все впечатления бытия. Этот образ имеет крепкие корни, сидящие глубоко в родной почве. Кто из нас не знает незабываемых картин «Семейной хроники» С.Т. Аксакова! Но часто от местных людей, способных дать обстоятельный анализ, ускользают существенные для синтеза черты. *Чужеземец* часто ярче воспримет индивидуальные особенности нового края, потому что он всегда *пользуется методом сравнения*, который и дает возможность успешно вскрыть индивидуальные черты. Путешественник всегда невольно сравнивает и различает. Обычно его сознание более восприимчиво. Новое переживается полнее, ярче, свежее. Путешественник замечает больше, хотя знает меньше. Часто синтетический образ ему даётся легче. Один современный французский писатель по этому поводу пишет:

Иногда городу нужно не более часа, чтобы вполне выявиться перед проезжим. В то время как кто-нибудь из жителей, даже прозорливый, и за 20 лет не успеет составить связного понятия о городе и не сможет углубиться более, чем в несколько отдельных характерных черт, которые будут ему казаться противоречивыми и непримиримыми, – путешественник, выйдя с вокзала, направится как раз по тем улицам, в которых город сказывается весь и которые являются осью его души; он сделает необходимые повороты; остановится на определённых перекрестках; откроет центр тяжести всего – и тут промедлит более, чем во всех других местах. Никто не будет его проводником, да никто не мог бы даже так его вести. Своим успехом он будет обязан инстинкту, частью или какому-нибудь таинственному покровительству судьбы. Вечером, когда он вернётся в вагон, он будет обладать самым точным и верным представлением о городе; он

будет знать о нем почти столько же, сколько город сам о себе. (Ж. Ромен. «Перерождённый город».)

Если отбросить несколько парадоксальное преувеличение, мы можем согласиться с автором в его оценке преимуществ свежего и опытного взора путешественника.

На основании всего сказанного можно прийти к выводу: *только в сочетании постоянных наблюдений местного жителя с впечатлениями приезжего можно вскрыть целокупный образ своего края. При этом в основе его построения должны лежать продуманные и проверенные итоги местных людей, сросшихся со своим краем.*

Во всяком случае, литература путешествий для краеведения имеет бесспорное значение, и если мы обладаем записями, которым присуща художественная выразительность, то они смогут облегчить нам целостное восприятие края. Вспомним, например, прекрасную книгу В.Г. Короленко «В пустынных местах. (Из поездки по Ветлуге и Керженцу)», которая учит нас видеть, которая полна ароматом лесов и ликами «встречных людей», возникающих перед автором из «народного моря» и вновь исчезающих в нём. «Лес шумит», «река играет», и сменяются на фоне природы, перед вдумчивым взглядом странника, люди, как частицы великого, но вполне конкретного целого, имя которому народ.

Все отмеченные здесь виды литературы (мемуары, дневники, письма, путешествия, отдельные заметки) должны удовлетворять одному требованию – правде. Несмотря на присоединяющуюся иногда к ним задачу художественного изложения, они должны в силу своего специального назначения оставаться верными действительности. Художник в них подчинён жизненным фактам. Пусть волен он в беллетристическом произведении творить из своего материала всё, что требует его творческая воля, – в «воспоминаниях», в «описаниях путешественника» воля художника, как и ученого, подчинена одному и тому же закону.

Гёте назвал свои воспоминания «*Dichtung und Warcheit*» («Вымысел и правда»). Подчиняя свою жизнь цельной концепции, великий писатель этим заглавием как бы обеспечивал себе право на известные отступления. Характер нашего восприятия, свойства нашей памяти мешают тому, чтобы отражённое было бы точным отображением пройденного жизненного пути. Вымысел невольно проникает в правду. Впечатления действительности выходят из лаборатории творчества в коренной переработке, в особом освещении. «Тогда-то и получается столь известный художественный эффект: образы и картины, строго говоря, не правдивы в смысле точного и разностороннего изображения действительности, но они по-своему говорят нам о действительности, о человеке, о человечестве ту... правду, которую не скажет самое точное изображение их». (Овсянко-Куликовский.) Художественная правда освещает в жизни многое столь существенное, без чего наше знание уже обойтись не может. Краеведение, стремящееся к целокупному знанию, должно ознакомиться и с «особым освещением», которое рождается в лаборатории художественного творчества.

Писатели, чутко откликающиеся на «впечатление бытия», не могли пройти мимо того материала, который является предметом изучения краеведов. Вспомним, как Н.В. Гоголь готовился к своим «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Он обращается к матери с просьбой сообщить всё, относящееся к «обычаям и нравам малороссиян»:

В следующем письме я ожидаю от вас описания *полного* наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов с поименованием, как это *все* называлось у самых *закоренелых*, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиан; равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками, до *последней* ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья носимого до времен гетманских... Ещё обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей; об этом можно расспросить Демьяна (кажется так его зовут, прозвания не вспомню), которого мы видели учредителем свадеб, и который

знал по-видимому все возможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее с их названиями и делами.

В этом обращении Н.В. Гоголя к матери любопытен каждый штрих, рисующий образ начинающего краеведа. Художнику нужно знать с полной точностью тот материал, который он вводит в лабораторию своего творчества. Художественный вымысел (*Dichtung*) исходит из жизненной правды (*Warcheit*).

Можно назвать ряд русских писателей, столь же внимательно знакомившихся с краеведческим материалом. Назовём здесь Лескова, Мельникова-Печерского, Короленко.

Краоведам необходимо обратить самое серьёзное внимание на эту сторону творчества наших писателей. Это имеет чрезвычайно большое значение, как для понимания психологии творчества, так и для изучения края и его популяризации. В настоящее время, когда краеведение широкой волной разлилось по всей стране, вовлекая в свою работу всё новые группы населения, контакт краеведов с местными писателями приобретает особо существенное значение. Как некогда Гоголь просил свою матушку разыскать какого-то «устроителя свадеб» Демьяна, прозвание которого он не запомнил, так теперь писатель, стремящийся отразить свой край, сможет найти в центрах краеведческой работы богатые родники, которые смогут питать его творчество. Нужно суметь так же пытливо, как Н.В. Гоголь, стремиться получить от краеведов и других местных людей наиболее полные, точные и верные сведения. Хорошо, если они будут пополнены и одухотворены личным опытом автора общения с краем, но ещё лучше, если это общение будет носить постоянный характер, если отражаемый в творчестве край будет родным местом, с которым у писателя создалась кровная связь. Так, Диканька была не «пустым для сердца» Гоголя «звуком».

Наша эпоха обострила интерес к конкретному. Памятники материальной культуры, в особенности, сохраняющиеся на своих исконных местах, в своём естественном окружении, ландшафты, как природные, так и культурные, приковывают к себе не только интерес исследователей, но и самых широких слоев населения. С этим связан и знаменательный расцвет экскурсионного дела.

Литература, как «чуткий аппарат человечества», отразила эти интересы. Современные беллетристы: Пильняк, Федин, Леонов, Никитин, Шишков, Каверин вводят постоянно краеведческий материал в свои писания. На многих страницах, вышедших из-под их пера, лежит яркий *couleur locale*. Возрождение и расцвет культур национальностей, входивших в состав Российской империи получивших свободу самоопределения после революции, должны содействовать развитию интереса к местному, к «краевому». Расцвет музейного дела, дальние экскурсии, научные экспедиции, археологические раскопки, реставрации, вся культурная работа, отражённая до известной степени и современной печатью, создали весьма яркое явление, характеризующее современность. Как же откликнулись наши писатели на пробудившиеся интересы общества? Как они выполняют этот «социальный заказ»?

Для примера возьмем двух авторов, отразивших жизнь одного и того же края, в его смежных областях. С. Клычков в «Чертухинском балакире» отразил Ленинский (Талдомский) уезд Московской губернии и М. Пришвин в «Родниках Берендея» изобразил район Переславля-Залесского.

Избранные нами для примерного разбора книжки, вышедшие почти одновременно, дают возможность сопоставить два разных типа художественной литературы, представляющей краеведческий интерес. В романе С. Клычкова мы имеем чисто беллетристическое произведение, в работе М. Пришвина – в художественной форме «Записки фенолога». Первая книжка – продукт творчества местного человека, вторая – заметки заезжего

человека, много странствовавшего по лицу родной земли. Сопоставление этих работ даёт возможность прийти к некоторым выводам.

С. Клычков, сын деревенского сапожника, вскормлен тем краем, который он описал. Его имя встречалось наряду с именами Клюева и Есенина. Он вышел из плеяды крестьянских поэтов. Лирически-эпический тон присущ и его большому роману «Чертухинский балакирь», многие страницы которого напоминают «стихотворения в прозе» и приобретают ритмический характер. Язык Клычкова, сочетающий простоту и ясность с некоторой стилизацией, насыщен местным колоритом и должен представлять интерес для лингвиста. Его литературные традиции через Ремизова ведут к Мельникову-Печерскому и, в особенности к Лескову, и восходят к Гоголю. Само заглавие романа, не совсем понятное читателю, но такое звучное, имеет что-то от Лескова (сравнить, например, «Ракушинский меламед», «Несмертельный Голован», «Чертогон»). Отдельные страницы, иногда целые эпизоды (например, глава III «Непомерная плоть», где повествуется о пребывании двух братьев на Афоне), крепко налаженный сказ живо напомнят автора «Запечатленного ангела» и удивительных восточных легенд. С Мельниковым-Печерским роднит автора интерес к фольклору, к исчезающему быту, в особенности раскольничьему, и всё это дается на фоне жизни природы, все это совершается «в лесах» и исчезает вместе с ними. Человек и природа не противостоят друг другу, они связаны бесчисленными нитями, их единство еще не нарушено. Но С. Клычкова охватывает страх, едва ведомый писателям прошлого века. Победоносное шествие машин повлекло за собою нарушение первичного лада органической природы и связанной с ней культуры. Возрастание роли механизации воспринимается некоторыми как явление не только социального, но и космического порядка. «Жизнь оторвалась от своих органических корней». Наступают *сумерки природы*. С. Клычков останавливается на судьбах исторического развития и в

тоне своего повествования пишет: «Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья заставит целовать себе ноги – подрежет пилой-верезгой: тогда-то отвернется бог от опустелой земли и от опустелой души человеческой, а железный черт, который только ждет этого и никак дождаться не может, привертит человеку на место души какую-нибудь шестерню или гайку с машины, потому что черт в духовных делах порядочный слесарь... с этой-то гайкой вместо души человек, сам того не замечая и ничуть не тужа, будет жить и жить до скончания века». Подобное умонастроение могло сложиться там, где не иссякли «родники Берендея», где исчезающий мир и питаемое им мироощущение еще борются с неизбежным процессом.

В повести С. Клычкова читатель *не найдёт отражения современной деревни.*

Его взор обращен к прошлому. В сложной картине современности он чутко выделяет архаичные черты.

«Чертухинский балакирь» имеет свои корни в той почве, где живы ещё предания старины глубокой. К своей повести С. Клычков мог бы поставить эпиграфом пушкинские слова: «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит».

Сторона наша лесная, дремучая, тёмная!.. Век по заколице ходит солнце за облаком, сощурившись на болота и гати, и редко выпадет час, когда, словно странники, упёршись в дальние взгорья дождевым кривым подошком, уйдут облака в полночи на самый край Чертухинского всполья, где, огибая покатые груди холмов, вьётся наша лесная шептуха – Дубна; тогда-то поплывут над рекой вдоль дубенского зелёно-муравного берега соломенные и тесовые крыши, и вознесётся высоко, под самый месяц, колокольный купол чертухинской церкви, и с непомерной своей высоты поведёт приподнятой бровью и моргнёт хитрым глазом месяц, круглый, как именинный пирог! Хорошо в этот месячный час выйти на двор из избы или спросонья взглянуть из окошка: кругом все как и днем, только теперь всё как будто плывёт, от земли оторвавшись, только туман накинул на все свои прозрачные тени; лес подошёл к самой околице и машет широким рукавом на

крыльцо, а по другую сторону поле тихо дышит еле заметными перекатами бугорков, убаюканное в своей большой колыбели! Тогда-то и придёт на разум наш, блаженной памяти, чертухинский враль, Пётр Кириллыч по фамилии Пенкин, у которого все в жизни было так же, как и у всех, только ему всё казалось иначе, как, может, никогда и ни у кого не бывает, отчего мужик часто, для себя самого невдомек, завирался. Да и то надо сказать: иной проходит по лесу весь день, а и елки хорошо не увидит, и ничего с ним в лесу не случится... Скушно у нас теперь без Петра Кириллыча стало!..

Как не вспомнить, читая эти строки, нашего старого знакомого пасечника Рудого Панько с хутора близ Диканьки!

Подобно Н.В. Гоголю, наш автор собирал с любовью «полные, точные и проверенные сведения» о своем крае для того, чтобы создать из них в лаборатории творчества свой мир в особом освещении со своей правдой, которую не может заменить самое точное изобретение. С. Клычков берет свой край с «ночной стороны», и жизнь его раскрывается в лунном освещении. Ландшафт окрестностей Дубны (приток Волги) обычно, как и в приведённом вводном отрывке, рисуется в сиянии луны. Очень удались автору описания леса, насыщенные подлинным чувством природы, Бобыльей пустоши, Боровой мельницы и реки Дубны. Все характеристики отличаются большой конкретностью и образностью. С. Клычков населяет эти места персонажами романтической литературы: леший (Антютик), домовый (очажный черт), русалки (дубенские девки) – всё это тот же мир, в котором жил пасечник Панько. Но, странным образом, читателю не кажется, что здесь только возрождение литературных традиций, – такой убедительной и необходимой кажется вся эта «мелкая нечисть». Вместе с А. Блоком наш автор мог бы сказать:

Душа моя рада
Всякому гаду
И всякому зверю
И о всякой вере.

Для С. Клычкова «в мире есть одна только тайна: в нем нет ничего неживого. Потому люби и ласкай цветы, деревья, разную рыбу жалей, холь дикого зверя и лучше обойди ядовитого гада».

В тесной, органической связи с природой, в её конкретной данности С. Клычков находит путь в тот мир «мужичьей веры», того «двоеверия», в котором слились неразнымчато христианские верования с пережитками древнего язычества. Автор говорит о своём крае устами Балакиря, он взирает на него глазами, которыми смотрели века и века, но которые теперь, в век «железного чёрта», цивилизации, уже перестают видеть. С. Клычков собрал местные поверья и предания. В его повести снова обрела свою силу сон-трава. «С этой травой во рту можно было сходить на тот свет и назад воротиться, только трудно тогда было приладиться к ней и всё довести до конца». Есть у С. Клычкова и книга «Златые уста». «В сей книге счастливцу, раскрывшему её на любой странице, виден весь мир как на ладошке яичко». В описание свадьбы включен богатый этнографический материал, но здесь работа краеведа незаметна: она вполне претворена в «лаборатории художественного творчества».

Словно согласно приему романтической школы «разрушения иллюзии» как-то неожиданно в этот уходящий мир «Призрачной Руси» автор вводит краеведческий музей.

«Да если уж такой неверный Фома, так можешь сам убедиться: шкура от одного медвежонка, который у барина Бачурина вырос в большого медведя и в одночасье издох, и посейчас ещё стоит у самого входа в Чагодуйском музее. И как обделан-то! Провались! Лапа вперед, будто здороваётся со всяким, кто, значит, к барину придет. И верно, чего только не собрано в нём с нашей округи... Положительно от сороки из Чертухина и до Манамаевой мурмолки, которую татарский хан Манамай будто потерял на том самом месте, где теперь стоит Чагодуй, – все есть, что касательно уезда!.. Так и называется: Музей местного края. Будешь в Чагодуде, зайди непременно, всякая диковина и пустяковина, а главное – медведь налицо!..» Не попала ли в музей и книга «Златые уста»?

В «Чертухинском балакире» всё действие – *Dichtung*, но не вымысел те верования, которыми был насыщен этот край, древний своей культурой и своим своеобразным бытом. С. Клычков сумел не только войти в этот дряхлеющий и отмирающий мир, но и нас ввести в него. В «Чертухинском балакире» есть художественная убедительность и вместе с тем своя правда о крае.

Совершенно другой тип работы представляют «Родники Берендея» – М. Пришвина, автора ряда книг, посвящённых различным местам России: «За волшебным колобком» (Белое море и Мурманское побережье), «Башмаки» (Ленинск—Талдым), «Славные Бубны» (Крым) и другие.

Все эти очерки появились в результате путешествий по «чужим краям». Таким образом, в работах М. Пришвина мы не имеем трудов местного человека. Этим, конечно, отнюдь не отрицается за ними возможность оказаться ценными для краеведения. Выше мы старались развить эту мысль в связи с вопросом о значении литературы путешествий для краеведа. М.М. Пришвин – прирождённый странник, с постоянным зовом в неведомую, но желанную даль. Кочевой дух наших предков в нем сохранил свою власть над жизнью. Скитальчество стало как бы профессией М. Пришвина. Он представляет собой тот психологический тип, который удачно очерчен в книге Б.Е. Райкова «Психология путешествий». Однако работы М. Пришвина интересны не только как путевые заметки. Наш автор, этот блуждающий огонек, имеет все же ясно выраженный специальный интерес к краеведению. В подзаголовке его книги значится «Записки фенолога». М. Пришвин пытался найти свой путь краеведения, определить свой метод.

У меня есть свой краеведческий опыт, и шевелится в голове что-то вроде метода. Сущность этого краеведческого метода состоит в том, чтобы обыкновенным земляческим чувством края, в котором заключается и чувство природы и даже, несомненно, художественный синтез, пользоваться для понимания лица края по крайней мере на

равных правах с обыкновенными научными методами изучения. Мне кажется, что замечательный следопыт из простого народа стоит одного или даже двух хороших ученых.

К сожалению, в этом весьма ответственном отрывке автор не нашел отчетливой формулировки своих мыслей. Самое существенное в этом отрывке: *познание лица края особым земляческим чувством. Это путь интуиции.* Автор придаёт ему, видимо, главенствующее значение: замечательный следопыт из народа предпочитается двум хорошим ученым.

В «Башмаках» М. Пришвин более обстоятельно и ясно развивает свою заветную мысль:

Если бы жизнь пришлось повторять, я непременно бы сделался краеведом, но не таким, какие они есть – учёные специалисты, или энциклопедисты, а таким, чтобы видеть лицо края. Многие думают, и этот предрассудок широко распространен, – что если изучить край во всех отношениях, и эти знания сложить, то и получится полное представление о том или другом уголке земного шара. Но я думаю, что сложить эти разные знания и получить из них лицо края так же невозможно, как сварить в колбе из составных элементов живого человека. Сколько вы ни изучайте край и сколько вы ни складывайте полученные знания, и всё-таки непременно останутся места, наполнить жизнью которые может только простак, сам обыватель этого края. Вот мне и кажется, что настоящий краевед должен исходить не от своего знания, – например, какой-нибудь ихтиологии, а от жизни самого простака (я не люблю слова «обыватель»). Для этого, скажут мне, существует наука этнография, но и про этнографию я скажу то же самое: живую жизнь она пропускает. Для того, чтобы схватить живую жизнь, нужно найти секрет временного слияния с жизнью; самое трудное в этом слиянии, что его нельзя задумать и осуществить по программе, как-то – чтобы оно выходило из всей природы самого себя... от художественного дарования.

Здесь путь интуиции, ведущий к непосредственному познанию лица края, очерчен вполне определённо. Целокупное знание без интуиции недостижимо. Краеведу нужно изучать на основе целого и из целого. Все эти мысли, высказанные мною в начале статьи, имеют несомненную связь с приведенным здесь положением М. Пришвина. Выдвигая их, автор

прокладывает путь к краеведению для беллетриста. Но в этих суждениях есть ещё одна пронизывающая их мысль, которая внушает опасения.

Интуиция для краеведа не то же, что для беллетриста. Работа его должна покоиться на тщательном исследовании своего края и носить строго научный характер. Место в ней интуиции – наведение на исследовательский путь. Интуиция создает гипотезы, которые должны быть проверены. Своё непосредственное видение целостного образа, которое дается «земляческим чутьем края» и неизбежно носит *субъективно достоверный* характер, нужно суметь сделать *объективно убедительным* через проработку чисто научного характера. Если краевед и не ученый, то, во всяком случае, его работа должна соответствовать требованиям научности, хотя бы в самой элементарной форме. В положениях М.М. Пришвина проглядывает ясно выраженная недооценка момента научности в работе краеведа. М.М. Пришвин противопоставляет научное «изучение края во всех отношениях» непосредственному видению его лица «земляческим чувством» какого-либо местного «простака», причем явно предпочитает последнее. Этим самым автор вступает на опасный путь подмены образами, рождёнными воображением, подлинных отображений края. И если это относится к местному простаку, то тем более к чужеземцу, часто попавшему ненадолго в данный край.

«Большинство животных и растений тесно связаны с жизнью человека, но до сих пор наука мало занималась изучением этой связи и, вероятно, тут должно помочь искусство». Таким образом, искусство оценивается как орудие познания наряду с наукой, как ее подсобник. Здесь, конечно, имеется в виду художественная интуиция. «Я понимаю песню природы, прежде всего, как песню и потом уже исследую как феномен». Непосредственное понимание, видимо, ценнее последующего исследования, так как оно не расчленяет, не измеряет, а непосредственно видит целостный образ. Вот поэтому М.М. Пришвин и полагает, что «зверь знает все, но не может

сказать, а человек все может сказать, но не знает всего» (с. 72). Инстинкт даёт более полное значение, чем разум. Мысль для нашего автора имеет цену постольку, поскольку она вырастает из «чувства жизни» (с. 52). Характерно выражение: «я погрузился в свои полумысли». Если М.М. Пришвин и не говорит этого прямо, то во всем его подходе к проблеме знания сквозит борьба с научностью и учеными. Ему хочется в краеведении выдвинуть: «следопытов», «простаков», «робинзонов» с ясными глазами, у которых инстинкт (чутье) преобладает над разумом.

Еще раз вспомним, как «беллетрист» Гоголь стремился к точному знанию. Тем более следует признать точное знание обязательным для каждого краеведа. И то, что вполне допустимо для художника, свободно преображающего действительность в лаборатории своего творчества, сохраняя при этом ту правду, которую не скажет самая точная передача действительности, не может быть разрешено краеведу. *Его интуиция, необходимая для восприятия края, как неповторяемого и единичного явления, должна быть утверждена и обоснована точным знанием. Во всяком случае, не должна противоречить ему.*

М.М. Пришвин пошел по иному пути. Занимательная повесть его странствований может увлечь читателя, имеющего тягу к путешествиям, но не может вполне удовлетворить краеведа. В «Родниках Берендея» мы находим тому яркий пример. В этих «Записках фенолога» описано постепенное наступление весны в Переславском крае, в котором автор ощутил родники Берендея, то есть истоки древнерусской культуры, еще не иссякшие. Приезжий литератор стремится припасть к ним, ощутить их жизненную силу и передать в художественных образах постигнутую им правду о крае. По крайней мере, он в своем предисловии вполне определенно указывает на наукообразный характер своей работы. «Мои записки не условная и любимая мною литературная форма, а действительно записки под диктовку весны – почти без всякой последующей обработки и связанные

только силою движения жизни в природе, вызывающей ответное движение в душе человека». Далее автор сообщает, что он был в обществе учёных, снабжавших его материалом, которым он приносит свою благодарность. *Всё это обязывает автора-беллетриста, ограничивает его творческие права.* Поскольку характеризуется им определённый край, поскольку описываются реальные личности, постольку вымысел («Dichtung») должен быть подчинён правде («Wahrheit»). Пред нами не повесть, как это было на примере «Чертухинского балакиря», а записки фенолога. Полет фантазии автора должен быть ограничен требованиями подлинности. Насколько М.М. Пришвин учел все это? «В этот год, когда моя земля отдыхает, я *не буду ничего придумывать*: буду писать, не переменяя на свой лад имен, отмечая каждый день весны; героем моего рассказа будет сама земля». «В нынешнем году я достал себе фенологическую программу и веду записи, *как требует наука*». Это обязывает.

Какая интересная проблема для писателя-беллетриста! Удача ее решения может создать особую форму художественного творчества, весьма ценную для нашего времени.

Мы охарактеризовали понимание автором краеведения, а в связи с этим и задачу его нового труда. Насколько «Родники Берендея» соответствуют тому и другому?

Характерной особенностью М.М. Пришвина является чувство жизни и образность языка. «Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенная от сучьев до самой вершины, и сучья тут же валялись, на них ещё лежали сучья осины и ольхи с повялыми листьями, *и всё это вместе, все эти поврежденные члены деревьев, тля, издавали приятнейший аромат на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать, благоухая*». Для М.М. Пришвина все живет единой, текущей, теплой жизнью. Художник, устанавливая связь между различными деталями ландшафта, подчеркивает этим единство всех

элементов. «У нас перед домом намело огромный сугроб, и он лежал на солнце, сияя, как непомятая лебединая грудь... вон в световом половодье плывет облако, большое, тёплое, каких не бывает зимой, и оно тоже – как непомятая лебединая грудь». Этим повторным образом лебединой груди подчеркивается сродство элементов. В этой образности автор видит не только литературный приём, но иногда ощущает и вскрывает мифологические корни образа. (См. на с. 79-й истолкование образа «озеро – глаза матери»).

Страницы, писанные М.М. Пришвиным, насыщены пантеистическим пониманием мира, претворённым в импрессионистической манере письма. Это роднит «Записки фенолога» с дневником Томаса Глана из «Пана» Кнута Гамсуна. Вспомним хотя бы описание «Железных Ночей» северной природы между 22 и 25 августом.

Первая железная ночь. В 9 часов заходит солнце. Матовая темнота ложится на землю, показываются две звезды, а часа два спустя слабый свет луны. Я брожу по лесу со своим ружьём и со своей собакой, набираю костер, и свет моего огня падает между стволами сосен. Морозу нет. «Первая из железных ночей», – говорю я. И сильная смущающая душу радость проникает меня насквозь при мысли о времени и месте... Люди, птицы, звери! Да здравствует эта одинокая ночь в лесу, в лесу! Да здравствует мрак и шепот бога среди деревьев, нежное, простое благозвучие тишины, зеленая листва и желтая листва. Да здравствуют звуки жизни, собака, фыркающая в траве, нюхающая землю. Да здравствует дикая кошка, которая вытянулась всем телом и прицеливается, готовая прыгнуть на воробья, в темноте, в темноте! Да здравствует кроткая тишина земли, да здравствуют звезды, серп луны. Да, я пью за них и за него... Я встаю и прислушиваюсь. Никто меня не слышит. Я снова сажусь. Благодарение тебе, уединенная ночь; и вам, горы, мрак шум моря, оно шумит в моем сердце. Благодарение за жизнь, за дыхание, за милость жить сегодня ночью, я благодарю из глубины моего сердца!

Конечно, описания нашего автора значительно уступают в силе Кнуту Гамсуну, но между ними нельзя не ощутить прямую связь. Как Томас Глан, так и М.М. Пришвин, – люди на грани двух веков, тяготящиеся железной цивилизацией, – припадают к родникам Пана, который для нашего автора

является в образе языческого Ярилы. И напрасно М.М. Пришвин делает выпад против Ж.Ж. Руссо и Л.Н. Толстого за якобы их «сентиментально-мещанское» и «книжное» отношение к природе. Здесь, конечно, неуместно выступать на защиту великих открывателей природы в литературе. Следует только указать, что и автор «Родников Берендея» не свободен и не может быть свободен от литературных «книжных» традиций. Следопыт все знает, но сказать не может, литератор все может сказать, но знает не все.

Ценность труда М.М. Пришвина заключается именно в художественно-литературном оформлении «записок фенолога». Введение этого «сюжета» в беллетристику есть заслуга М.М. Пришвина. К сожалению, однако, краеведа «туземца» не может вполне удовлетворить беллетристический опыт М.М. Пришвина. Прежде всего, самый способ передачи впечатлений слишком сохраняет характер рассеянности, разбросанности. Хотя автор и располагает свои записи по линии от природы к человеку, но нигде нет единства темы. Мысль все время скользит по сменяющимся впечатлениям. Автор сам сознается: «У каждого специалиста есть своя тема, у меня одного темы нет. Я пользуюсь для изображения края своей врожденной способностью объединять пережитое, впечатления от жизни, от прочитанного и представлять все в лице, которое в повестях называется героем».

Не всегда автору удавалось «объединение пережитого», и нет при всей широте его тематического обхвата в его труде цельного образа края. Разнообразен его материал. Тут есть все: и жизнь природы во всей сложности ее проявлений, и местные люди самых разнообразных профессий, пришлецы, как и сам автор (юные натуралисты), здесь описаны и промыслы населения, а также его быт, наконец, далекое прошлое (раскопки) и пережитки старины, ожившие до нашей современности. Все, что видел своим быстро схватывающим взглядом Пришвин, все это попало в лабораторию его творчества. Однако импрессионистическое восприятие мира и манера письма автора, при всей ее красочности, не создают крепко слаженного образа

Переславского края. Местные люди отметили и ряд ошибок, часть которых проистекает из-за недостаточности знаний, другие же являются результатом сознательных отступлений автора от жизненной правды, ради занимательности рассказа, яркости, а то и просто «забавности» сведений. Как на пример ошибки первого типа, можно указать следующее место: «На пару во множестве цветут львиные зевы синие, в лесу заячья капуста и душистый горошек». («Первый зелёный шум», с. 74.) Синего львиного зева ботаника не знает, <...>и весной в Переславском крае не благоухает душистый горошек.

Чаще, однако, искажение действительности объясняется свободным подходом беллетриста к своему материалу. Приведём пример: «Древняя обитель, где находится наш музей, называется Пречистая на Горице, а сама земля, на которой стоит Пречистая, называется Вшивая Горка, и на Вшивой – улица Свистуша, теперь переименованная в улицу Володарского», с. 21. В действительности же Вшивая Горка находится по соседству, так что Пречистая на ней стоять не может, а Свистуша далеко за ней. Автор, желая подчеркнуть красочность топографической номенклатуры, сгустил краски. В особенности неприятно может подействовать на местных людей «стилизация», вполне произвольная, тех туземцев, с которыми общался наш автор. В подходе к живым людям надо быть особенно осторожным. Приведённые примеры можно было бы значительно увеличить, но это не входит в задачи данной статьи. Можно только пожалеть, что М.М. Пришвин своим художественным чутьём не проверил характеристики края и его населения, сделанной переславскими краеведами и в особенности М. И. Смирновым, столь симпатично отмеченным автором в его «записках». (М.И. Смирнов – автор ряда ценных работ, посвящённых Переславскому краю).

Характеризуя определённый край, описывая его жителей, часто приводя их имена, автор, хотя бы и беллетрист, должен взять на себя определённые обязательства: подчинить своё творчество научной правдивости. Ведь и сам М.М. Пришвин обещал «ничего не придумывать».

«Записки фенолога» выиграли бы, если бы автор отнёсся более строго к своим художественным правам. Ведь перед нами не только беллетрист, а беллетрист-краевед.

Две охарактеризованные здесь книги представляют несомненный интерес для краеведения. На основании их можно поднять общий вопрос о проникновении краеведческих интересов в творческую деятельность наших художников слова. Появление этих работ знаменует отрадное явление. Мы имели беллетристов-историков, беллетристов-астрономов, беллетристов-природоведов, мы будем иметь беллетристов-краеведов. Быть может, именно краеведение в особенности нуждается в привлечении художественных сил. Интуиция – один из ценных путей к целокупному познанию края.

Рассмотренная здесь тема представляет собою лишь одно звено целой цепи вопросов, возникающих на почве исследования художественной литературы в связи с изучением местного края. Если мы можем встретить иногда среди наших писателей (как прозаиков, так и поэтов) подлинных краеведов в смысле их психологического типа, то еще чаще можно обнаружить на страницах творений писателей совершенно иного душевного уклада, иных духовных интересов, места, имеющие большую краеведческую ценность.

Литературное наследие, оставленное Толстым и Достоевским, содержит в себе и с этой точки зрения исключительные ценности. То же самое можно сказать о творениях наших поэтов: Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока, Есенина... В созданных ими образах ландшафты нашей страны, как природные, так и культурные, нашли многообразное отражение. Творческая интуиция наших писателей вскрыла глубокую, часто неведомую, правду о различных уголках нашей страны.

Изучая «литературные гнёзда», нужно собрать не только материал, освещающий вопросы биографического характера и определяющий степень

участия писателя в жизни края, но, быть может, ещё важнее изучить отражение края в творчестве писателя. Историки литературы в занятиях этого рода, может быть, смогут выработать особый метод локального исследования в беллетристике, который приведет к выявлению еще неосвещенных сторон творческой личности наших писателей.

В программу работ краеведческих организаций уже во многих центрах включена задача изучения местной литературы. Весьма интересно уже теперь сделать учет проделанных в этой области работ и прийти к соответствующим выводам. Подобная работа началась более или менее планомерно лишь в последние годы. Еще не вполне четко проложены для нее пути. Идти приходится ощупью. Наметившаяся задача чрезвычайно велика и сложна; ее разрешить можно только при участии многочисленных местных работников. Краеведческое движение в этом должно сыграть большую роль. Вероятно, не одно поколение должно будет потрудиться для того, чтобы проработать материалы, накопленные к нашему времени. Объединение всех проделанных работ даст возможность осветить вопрос коренной важности для познания нашей культуры: что сделала наша литература для отражения в своих образах всей нашей страны.

Именной указатель

Аксаков К.С., (1817–1860), публицист, идеолог славянофильства

Аксаков С.Т., (1791-1859), писатель, мемуарист

Александр Невский, князь

Алексей Петрович, царевич

Алпатовы, елецкие купцы, предки М.М. Пришвина («уличная» фамилия)

Альбицкий Г.П., один из учредителей Пезанпроба

Анисимов А.И. (1877–1937), искусствовед и специалист в области реставрации древнерусской живописи

Анциферов Н.П. (1889–1958), культуролог, литературовед, краевед, мемуарист

Белозерова И.В., старший научный сотрудник ОПИ ГИМ

Белый Андрей (1880–1934), поэт

Бенуа А.Н. (1870–1960), художник, историк искусства

Бергсон Анри (1859–1941), французский философ

Блок А.А. (1880–1921), поэт

Бородин С.П. (1902–1960), писатель, автор исторических романов

Введенский Д.И. (1873–1954), профессор Московской духовной академии по кафедре библейской истории

Вишневецкий В.И. (род. 1954), археолог

Гагарины, князья

Гамсун Кнут (1859–1952), норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии (1920)

Геммельман С.С. (1877–1938), энтомолог

Ганшин А.А. (1869–1940), фабрикант, революционер

Гете И.В. (1749–1832), немецкий поэт

Гоголь Н.В., писатель

Голицыны, князья

Голубцов А.П. (1860–1911), профессор Московской духовной академии по кафедре литургики и церковной археологии

Городцов В.А. (1860–1945), археолог

Горький А.М., пролетарский писатель

Григорьев А.В., художник

Делла-Вос-Кардовская О.Л. (1875–1952), художница, жена Д.Н. Кардовского

Дубровский Ф.П., стольник

Екатерина II, императрица

Елховский В.Е.

Ершов И.Н., автор книги «Михаил Пришвин и российская археология»

Есенин С.А. (1895–1935), поэт

Жуков Н.В., писатель

Журавлевы

Ибсен Генрик (1828–1906), норвежский драматург

Иванов К.И. (1906–1970), директор Переславского музея (1930–1970)

Иван IV Грозный, царь

Каверин В.А. (1902–1989), писатель

Кардовский Д.Н. (1866–1943), художник

Керженцев П.М. (1881–1940), государственный и общественный деятель, журналист, председатель Комитета по делам искусств при Совнаркомех СССР (1936–1938)

Китицына Л.С. (1903–1990), жена В.И. Смирнова

Клычков С.А. (1889–1937), поэт, писатель

Клюев Н.А. (1884–1937), поэт

Колоколов Н.И. (1897–1933), писатель

Комаров К.А. (род. 1926), археолог

Короленко В.Г. (1853–1921), писатель

Коровин К.А. (1861–1939), художник

Кропоткин П., князь (1842–1921),

Крылов П.Н. (1902–1990), художник, член творческого коллектива Кукрыниксы

Крылов А.П. (род. 1929), художник, внук М.И. Смирнова

Ласточкин Д.А., озеровед

Лейкин Н.А. (1841–1906), писатель, издатель юмористического еженедельника «Осколки»

Ленин В.И. (1870–1924), политический деятель

Леонов Л.М. (1899–1994), писатель

Лесков Н.С. (1831–1895), писатель

Ливенсон (Леонтьев) Р.Б.

- Машковцев Н.Г. (1887–1962), искусствовед, художник
- Мельников-Печерский П.И. (1818–1883), писатель, этнограф-беллетрист
- Мещерские, князья
- Мещерская (Смирнова) Н.В.
- Муратов П.П. (1881–1950), искусствовед, писатель
- Нарышкины
- Никитин А.Л. (1935–2005), археолог, писатель
- Никольский Константин Павлович, священник, зять М.И. Смирнова
- Овсяннико-Куликовский Д.Н. (1853–1920), литературовед, историк культуры
- Олсуфьев Ю.А., граф (1978–1938), искусствовед, музейный деятель
- Ольденбург С.Ф. (1863–1934), востоковед, академик РАН, председатель ЦБК (1921–1927)
- Островская
- Островский А.Н. (1823–1886), драматург, автор пьесы-сказки «Снегурочка», действие которой происходит в стране Берендеев
- Петр I, царь
- Петровичев П.И. (1874–1947), художник-пейзажист
- Пильняк Б.А. (1894–1938), писатель
- Пиотровский В.Ф. (1876–1965), географ, озеровед
- Пришвин М.М. (1873–1954), писатель
- Пришвин П.М. (Петя) (1909–1986), сын М.М. Пришвина
- Пришвина Е.П., жена М.М. Пришвина
- Райков Б.Е. (1880–1966), педагог, историк естествознания
- Ремизов А.М. (1877–1957), писатель
- Рерих Н.К. (1874–1947), художник, путешественник, археолог
- Романовский А.П., поэт
- Ромен Жюль (1885–1972), французский писатель, поэт и драматург
- Руднев А.Б., писатель (1873–1954), писатель
- Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский писатель, мыслитель
- Рязановский И.А. (1869–1927), сотрудник Костромского губернского архива
- Святский Д.О. (1881–1940), астроном, метеоролог, член ЦБК

Семирадский Г.И. (1843–1902), художник

Сергий Радонежский, святой

Смирнова Н.В. (ум. 1956), жена М.И. Смирнова

Смирнова Нина Николаевна (жена Вс.М. Смирнова)

Смирнова Ольга Всеволодовна (род. 1939), внучка М.И. Смирнова, ботаник

Смирнова (Крылова) Софья Михайловна, Соня (1908–1933), дочь М.И.

Смирнова (Крылова) Софья Михайловна, Соня (1908–1933), дочь М.И. Смирнова, художница

Смирнова Т.В. (род. 1935), племянница М.И. Смирнова

Смирнов Василий Иванович (1882–1941), краевед, брат М.И. Смирнова

Смирнов Всеволод Михайлович (1910–1941), сын М.И. Смирнова

Смирнов Сергей Иванович (1870–1916), профессор Московской духовной академии по кафедре истории русской церкви, брат М.И. Смирнова

Соколов Б.М. (1889–1930), фольклорист, литературовед

Соколов Ю.М. (1889–1941), этнограф, фольклорист

Спицын А.А. (1858–1931), археолог, член-корр. АН СССР (1927)

Степун Ф.А. (1884–1965), философ, литератор

Толстой Л.Н., писатель

Третьяков П.Н. (1909–1976), археолог, член-корр. АН СССР

Троцкая Н.И. (Седова) (1882–1962), зав. Отделом по делам музеев и охране памятников искусства и старины (1918–1927)

Трубецкие князья

Ушаковы

Фаворский В.А. (1886–1964), художник

Федин К.А. (1892–1977), писатель

Фет А.А. (1820–1892), поэт

Фигнер В.Н. (1852–1942), революционерка-террористка

Филимонов С.Б. (род. 1947), историк, доктор исторических наук (1992), профессор Таврического университета

Флоренский П.А. (1881–1937), священник, ученый

Франс Анатоль (1844–1924), французский писатель

Чехов А.П., писатель

Чириков Г.И. (1882–1936), иконописец, реставратор

Шаляпин Ф.И. (1873–1938), певец

Шаховские князья

Шишков В.Я. (1873–1945), писатель

Юон К.Ф. (1875–1958), художник

Яковлев А.С. (1886–1953), писатель

Яковлев, директор Загорского историко-художественного музея в 1937 г.

Содержание

| | |
|---|----|
| От составителя..... | 3 |
| Краевед М.И. Смирнов (1868–1949)..... | 5 |
| Список опубликованных работ М.И. Смирнова, составленный им самим | 30 |
| Заметки к книге И.Н. Ершова «Михаил Пришвин и российская археология» (М., 2012) | 34 |
| М.М. Пришвин в Переславле-Залесском | 42 |
| Беллетристы-краеведы | 72 |
| Именной указатель | 94 |
| Содержание | 99 |

М.И. Смирнов и М.М. Пришвин в Переславле-Залесском (1925-1926)

Корректор И.В. Переславцева
Компьютерная верстка П.Н. Долгополов

Подписано в печать 28.02.2013

Формат 60x84/16. Бумага офсетная.

Гарнитура «Minion Pro». Печать офсетная

Объем 6 п.л. Тираж 200 экз. Заказ 291.

Издательство «Все для Вас Сергиев Посад»,

г. Сергиев Посад